

МАРГАРЕТ МАДЗАНТИНИ

СИЯНИЕ

Роман

18+

Маргарет Мадзантини

Сияние

«Азбука-Аттикус»

2013

УДК 821.131.1
ББК 84(4Ита)-44

Мадзантини М.

Сияние / М. Мадзантини — «Азбука-Аттикус», 2013

Впервые на русском языке новый роман знаменитой итальянской писательницы, сценаристки и актрисы Маргарет Мадзантини «Сияние». Достанет ли нам когда-нибудь мужества быть самим собой?! – спрашивают себя герои Мадзантини. Два мальчика, двое мужчин, две невероятных судьбы. Читатель постепенно, будто выкладывая кусочки мозаики, узнает историю Гвидо и его друга детства Костантино, и ему становится ясно, что соединяющая их ниточка превратилась в стальную проволоку, натянутую над пропастью длиною в жизнь.

УДК 821.131.1
ББК 84(4Ита)-44

© Мадзантини М., 2013
© Азбука-Аттикус, 2013

Содержание

—	6
—	14
—	22
—	37
—	45
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Маргарет Мадзантини

Сияние

И снова посвящается Серджио

I was born like this, I had no choice

I was born with the gift of a golden voice.

Leonard Cohen. Tower of Song¹

Margaret Mazzantini

SPLENDORE

Copyright © 2013 by Margaret Mazzantini

First Italian edition by Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano

All rights reserved

© Т. Быстрова, перевод, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

—

Он был сыном консьержа. У его отца хранились ключи от нашей квартиры. Когда мы уезжали, консьерж поливал мамины цветы. После того как мы появились на свет, на двери подъезда прикрепили две голубые ленточки. Моя была чуть бледнее, потому что я родился на несколько месяцев раньше. В детстве мы часто сталкивались на лестнице: он спускался, я поднимался. Играть во дворе, где огромная пальма охраняла покой старожилов, нам не разрешалось. То был обычный многоэтажный дом, построенный на набережной Тибра в годы фашизма. Я часто видел из окна, как Костантино, с мячом под мышкой, пробирался к реке сквозь заросли тростника.

По утрам его мать подрабатывала уборщицей. Он все делал сам: просыпался по будильнику, открывал холодильник, наливал себе молока. А потом надевал берет и застегивал пальто. Каждый день мы встречались примерно в одном и том же месте. Я был куда более сонным. Мама держала меня за руку, а он был всегда один. «Привет». От него пахло подвалом, подворотней. Он делал три шага, а потом подпрыгивал. Три шага – прыжок, три шага – прыжок.

Единственный ребенок в семье, я был все время один. Катался по ковру, зажав в руках солдатику, и изображал перестрелку или драку. Субботними вечерами мы с мамой ходили в книжный магазин или в театр. Всей семьей собирались только по воскресеньям. Отец покупал газеты и читал, устроившись на кожаном диванчике у обеденного стола. Иногда мы с отцом катались на велосипедах. Он останавливался у реки и показывал мне птиц, которых течение несло к морю.

Я обедал на кухне. Съедал что-то непонятное и безвкусное, а домработница, повернувшись ко мне спиной, мыла посуду. Домработниц у нас сменилось немало, но для меня все они слились в одну мифическую враждебную фигуру, причину того, что все мои детские годы прошли вдали от мамы. Ее звали Джорджетта, она училась на архитектора, но по профессии не работала. Она была активисткой партии «Наша Италия» и испытывала настоящую страсть ко всевозможным культурным мероприятиям, где требовались волонтеры. Поэтому у нее никогда не было четкого графика.

Придя домой, она скидывала туфли и рассказывала отцу, с какими потрясающими людьми ей удалось познакомиться, как она боролась против сноса зданий исторического центра или что-нибудь в таком духе. Она выросла в Бельгии, в скромной семье итальянских эмигрантов. Джорджетта вечно жаждала интеллектуальной пищи, которой ей так не хватало в детстве и юности, когда она жила в простеньком домике путевого обходчика.

Мой отец, человек тихий, полная противоположность матери, занимался скучным и однообразным трудом. Мой извечный соперник, неудачливый рыцарь, он безумно любил маму и смотрел на нее во все глаза, точно так же как и я. Она казалась нам диковинной птицей, которая случайно залетела в дом и в изнеможении бьется о стены.

Наша лестничная клетка была овальной формы. На полу – зеленые и черные мраморные ромбы, лестница с бронзовыми перилами, элегантная кабина лифта вишневого дерева с застекленными дверцами. Было видно, как кабина скользит по лифтовой шахте, как двигаются то вверх, то вниз черные промасленные тросы. Поднимаясь на нужный этаж, гости разглядывали себя в зеркале, поправляли воротнички, готовили улыбки. За время, проведенное в роскошной кабине, они забывали о мире, из которого прибыли. Они оставались наедине с собой, вдыхали запах дерева, привыкали к слабому свету, точь-в-точь как в исповедальне. В нескольких метрах от дома находилось здание суда, так что на нашей площадке располагалась прием-

ная нотариуса, а этажом выше – контора известного адвоката. Все детство я представлял себе лица людей в вишневой кабине, пытаюсь угадать, чем они занимаются, что чувствуют.

Я говорю о лифте так подробно, потому что для меня он являлся машиной, соединившей два мира: нижний и верхний. Лифт вел меня домой, означая переход от уличного шума к тишине пустой лестничной клетки. Семья консьержа лифтом не пользовалась. Из всех соседей лишь они жили внизу, в самом конце темного лестничного марша, ведущего в подвал. Я никогда не видел, как они выходили, как возвращались домой. Лишь изредка по субботам случалось заметить кого-то из них с ворохом пакетов. Они шли из оптового магазина, где закупали продукты на месяц вперед. Отец нес на плече коробку с консервированными помидорами или дешевым растительным маслом. Дети в дутых куртках, на старшей – белые пушистые наушники. В отличие от брата, Элеонора часто поглядывала на меня, и в ее взгляде читался вызов миру верхних этажей. Она напоминала любопытного кролика, который нюхает воздух, пытаюсь угадать, что там, за дверцей клетки. Но Костантино был совсем другим. Не помню, чтобы хоть раз я видел его лицо. Он вечно поворачивался ко мне спиной – немного сутулой, крепкой и в то же время хрупкой. Он словно прятался. Торопился нырнуть в подъезд. Наверное, в тот день они что-то отмечали – им было весело.

Я часто представлял себе их пропахшую сыростью квартирку, дешевые просроченные продукты на клеенчатой скатерти, голубоватое подергивание телеэкрана. Его отец постоянно курил, на лбу у него виднелась псориазная бляшка. Мать была очень низкого роста. Она насквозь пропахла порошком, которым драила лестничные клетки. Она напоминала мне штопор. Должно быть, запах моющих средств навсегда въелся в ее плоть. У нее были красные руки, грубая, потрескавшаяся кожа. И тем не менее каждый день ровно в шесть, когда консьержка заканчивала работу, они собирались за кухонным столом в тусклом свете настольной лампы и все вместе делали уроки.

Я готовился к урокам, сидя на полу, прислонившись спиной к стене, у входной двери. Мне кажется, на ней даже остался отпечаток моего тела, словно след лошадиного крупа на стенке стойла. В коридоре я чувствовал себя ближе всего к внешнему миру, к шуму улицы. Дома никого не было, только в самом конце коридора, в комнате, где домработница гладила белье, горел свет. Там жил призрак. Призрак женщины, которая не была мне матерью. Он торчал там, словно огородное пугало посреди виноградника. Уж лучше бы меня оставляли совсем одного, куда легче было бы примириться с жестокой правдой одиночества, чем с этим обманом, этой подменой. В те годы в Италию только начинали стекаться потоки эмигрантов со всех концов света. Когда наша первая домработница вернулась на Сардинию, Джорджетта наняла сомалийку, потом ее сменили другие. Черные женщины улыбались мне улыбками африканских масок, меня окутывало чужими запахами. Для домработниц-африканок я был идеальным ребенком: тихий, почти незаметный. Мрачные, они уныло плелись в химчистку. Это был мой первый опыт общения с другими людьми: я задышался, тыча носом в клетчатый фартук, и был как будто бы рядом с ними, но в то же время бесконечно далеко – нас разделяли тысячи лет развития разных культур. Я привык, что волшебным царством этих далеких жизней была гладильная доска. Тепло от утюга и повторяющееся, завораживающее движение руки помогали им забыться. Они пытались сплести воедино порванные нити судьбы, возвращаясь в прошлое, к своим домикам на сваях, к грязным площадям, где торговали семенами и грязными козами. Порой эти женщины показывали мне фотографии сыновей. Я разглядывал застывшие перед фотографом лица, в которых читалась нищета.

Не шевелясь, я сидел на полу у входной двери точно приклеенный, и меня накрывала темнота, а тени уносили куда-то далеко. Я поджидал маму, ее стройные ноги, полы ее пальто. Я жаждал услышать голос единственной женщины, которая имела право жить в нашем доме и царила в моем сердце. И даже когда я обижался, я все равно хотел, чтобы она всегда была

рядом, и слезы мои высыхали при одной лишь мысли о матери. Мои мысли о ней были полны нежности, печали и любви. Я неподвижно лежал под дверью, точно пустая раковина. Меня терзали мрачные предчувствия, обуреваемый страх, что с ней что-то случилось, что она не вернется. Каждый раз, когда я слышал, как за дверью трогается лифт, я вздрагивал и задерживал дыхание. В эти мгновения я молил Бога, чтобы она появилась. Я мечтал о ней, какмышь мечтает о кусочке сыра. Мне никогда не забыть звука тормозящего лифта, железного скрежета, дребезжащего стука открывающихся деревянных створок! Эти едва различимые за дверью звуки будут преследовать меня до самой смерти. Звуки отринутой, отвергнутой любви. Звуки шагов, которые то приближаются, то вдруг неумолимо удаляются и затихают, направляясь к другой двери, к другому мальчику.

Когда отец возвращался домой, я сидел, скрючившись под дверью. Он думал, что я делаю уроки на полу с книгой на коленях, потому что так легче усваивается материал. Отец был дерматологом. Он всегда приходил домой бледный, его серое лицо напоминало переваренное мясо. Он включал свет, вешал плащ на крючок.

– Ну-ка, Гвидо, расскажи что-нибудь. Чем ты сегодня занимался?

То, что в ответ я отмалчивался, значения не имело. Я слушал его, ободренный тем, что я уже не один, но это было все равно что плестись за похоронной процессией. Отсутствие Джорджетты пробивало в наших жизнях огромную брешь. Мы не раз ужинали вдвоем с отцом: мать часто была занята и возвращалась ближе к полуночи.

Я изо всех сил старался не заснуть. И вдруг проваливался в сон, точно стойкий оловянный солдатик. Я знал, что, даже если мама вернется за полночь, она все равно подойдет к моей кровати, поцелует меня, возьмет мою руку в свою, нежно перебирая пальчики, и уткнется носом в мою макушку. Я лежал в кровати, словно похороненный заживо, и грезил о любви, которая настигала меня лишь сонным, слишком поздно, и только тогда, когда проснуться уже не было мочи. Я плакал от обиды, потому что не мог обнять Джорджетту по-настоящему, наяву.

Мамин брат, дядя Дзено, жил двумя этажами выше, под самой крышей, в квартире в стиле ампира, где от обилия позолоты становилось дурно.

Он был искусствоведем. Высокий, крепкий мужчина, не чуждый страстей, но довольно угрюмый. Блестящие, точно стальные шарики, глаза, обжигающий взгляд. Шторы у него всегда были задернуты. Это была не квартира, а настоящее хранилище священных реликвий: всевозможных каталогов, полотен, статуэток. Он жил один в окружении скульптур и теней. К нему часто заходили торговцы произведениями искусства, художники с безумными глазами, какие-то люди, связанные с Церковью. Ватикан был совсем рядом. Дверь дядиного кабинета вела на террасу, откуда открывался вид на собор Святого Петра, на огромные глазницы светлого купола и хлопотающих вокруг него ласточек.

В тот день он впервые заговорил со мной об искусстве. Дул сильный ледяной ветер, но дядя держал меня на террасе, не смущаясь тем, что я могу подхватить насморк, и не пускал обратно в тепло квартиры. На фоне темного неба он размахивал руками в такт своему рассказу. Он говорил о том, каким был первый проект Браманте, как жалок оказался план Сангалло и как Микеланджело пришлось все переделывать, чтобы собор вновь оказался в центре композиции. Дядя был холост и не любил детей, но, должно быть, в тот день (мне было восемь) я показался ему уже достаточно взрослым, чтобы заговорить со мной о серьезных вещах. Он попытался привить мне любовь к искусству, моя мать всегда мечтала об этом.

У дяди была подруга: высокая тощая девица, она вечно кружила вокруг него, словно раненая жирафа. Он никогда не приглашал ее на семейные обеды. За столом за ним ухаживала Джорджетта. Я ничего не знал об их прошлом, у нас дома было не принято об этом говорить. Знал лишь то, что их родители рано умерли и что Дзено как-то удалось прилично зарабатывать на продаже старинной картины из валлонской церкви, после чего он предстал перед

сестрой за рулем новенького «порше» с откидным верхом, точь-в-точь таком же, на каком разбился Джеймс Дин, и увез ее из Бельгии в Италию. Мать вышла замуж, но навсегда сохранила с братом самые теплые отношения. То была нерасторжимая связь, которую питали воспоминания прошлого. Джорджетта вела его переписку, назначала его встречи, следовала за ним, когда его приглашали в какой-нибудь университет читать лекции, ездила с ним на аукционы, в горы и на море. Она открывала двери его квартиры перед разорившимися отпрысками знатных фамилий, которые несли, зажав под мышкой, остатки семейных реликвий, завернутые в газету. Открывала она и галерейщикам из центра, что приходили заказать экспертизу. Дзено снимал очки и невооруженными глазами всматривался в картину. Он осматривал ее, словно путешественник карту, буквально внюхивался, всегда вглядываясь не в центр, а в какой-нибудь краешек, в затерянный, никому не заметный мазок. Красота могла растрогать его до слез, но и разозлить его было тоже несложно. Он презирал технику Лючио Фонтаны и его «разрезы», а вместе с ним и всех сторонников пространственной концепции. Иногда комнаты дяди оглашались криками, после чего посетители неслись вниз по лестнице не разбирая дороги.

Помню, как однажды, после рождественского ужина, дядя положил тяжелую ладонь на мою детскую голову. То был единственный раз, когда он проявил какие-то чувства по отношению к своему племяннику. Мама его обожала, что вызывало во мне чувство робкого почтения и глухой ревности. У отца тоже когда-то был брат, но он давно умер. Была еще сестра, тетя Эуджениа. У нее были короткие волосы с проседью, одевалась она как мужчина, была замужем, но детей не имела. Наша семья сплошь состояла из строгих и довольно странных взрослых и бесчисленных стариков. Я был единственным ребенком, и взрослые поглядывали на меня с опаской, точно на какое-то насекомое из романов Кафки, которое может вдруг разрастись до невиданных размеров и проглотить их. Мне дарили ненужные, грустные подарки вроде домино или зонтиков.

Как-то раз дядя Дзено принес мне мозаику из камешков. В приступе тоски и одиночества я схватил тяжеленную коробку и вышвырнул из окна. Сквозь щели жалюзи я наблюдал ее полет. Коробка упала, раскрылась, мозаика разлетелась по двору. Затем я увидел консьержа, который стоял у клумбы и, задрав голову, пытался разглядеть того, кто выкинул коробку. Я тут же отпрянул. В то время я подумывал покончить с собой. В детстве мне часто приходила в голову мысль о самоубийстве. Для меня этот полет был своего рода репетицией. Раздался звонок в дверь.

На пороге стоял сын консьержа. Из-за развалившейся коробки выглядывало его квадратное застывшее лицо.

– Папа сказал, что это выпало из вашего окна.

За его спиной виднелась пустая шахта: лифта не было. Значит, Костантино поднялся пешком. Он тяжело дышал. По тому, как он смотрел на меня, было видно, что поручение отца для него – повод для гордости. Должно быть, он был ответственным и смелым ребенком. Опушенные плечи, упругие ягодицы, пыльные ботинки. Маленький консьерж, да и только. Я же – тощий, привередливый в еде (я всегда выплевывал жир и резал мясо на малюсенькие кусочки) – стоял перед ним как бесплотный призрак. Этот мальчик был бесконечно далек от меня и совершенно непривлекателен. Словно высеченный из грубого и тяжелого материала, он глубоко и неровно дышал и казался огромной жабой. Его манило пространство за дверью – я перехватил взгляд, устремленный в темный квадрат за моим плечом, и увидел, как он покраснел. Я мог бы потащить его на кухню, налить молока. Все-таки он тоже ребенок, самый настоящий, пусть даже такой неинтересный и скучный. В тот серый, безрадостный день его появление стало для меня единственным ярким пятном. Можно было дать ему одного из моих солдатиков и начисто разбить его, заколоть штыком, отмутузить как следует. Я смотрел, как он прижимает к груди коробку с мозаикой, которую собрал для меня во дворе. Точно сокровище какое-то.

– Она не упала, я сам ее выбросил.

Его лицо исказилось недоумением.

– Зачем?

Я прикрыл дверь, давая понять, что ему пора уходить.

– Она мне не нужна. Негде хранить. Если хочешь, оставь себе.

Казалось, он вот-вот расплчется от отчаяния или закричит от радости. Передо мной вдруг раскрылось бескрайнее море его души, но дверь тут же захлопнулась, и он снова стал сдержанным и покорным. «Спасибо, – сказал он. – Если передумаешь, я тут же ее верну». Он поскользнулся на ступенях в тот самый миг, когда я представлял, как подбегаю и даю ему пинка под зад, так что мне показалось, что я и в самом деле его пнул.

– Почему ты не вызовешь лифт?

Он покачал головой и исчез в тусклом свете лестничного пролета. «Спаси меня!» – хотелось мне крикнуть ему вслед.

Когда я возвращался с уроков музыки, я больше не позволял домработнице держать меня за руку, но все равно мне приходилось идти впереди, и моя спина горела под пристальным взглядом ничтожной надзирательницы, следовавшей за мной по пятам. В тот день я застыл у прутьев грязной от придорожной пыли и налипших листьев решетки. Полуподвальный этаж, близость к темным вентиляционным оконцам подвала и складу копировального магазина ужасали меня до дрожи. Там не переводились мыши, а консьерж расставлял мышеловки и находил в них обезглавленные тельца.

Сквозь прутья решетки я заметил Костантино, который сидел за деревянным столом и раскладывал мою мраморную мозаику. Чтобы рассмотреть его получше, я присел на корточки. В руках у него были щипчики и кусочек ваты, которым он вытирал лишний клей. Он был поглощен своим занятием, по несколько раз подставлял каждый фрагмент и, прежде чем наклеить, промывал его и вытирал тряпочкой. Я был взбешен, что такая глупая игра доставляла ему столько радости. Мне хотелось подбежать к нему и выбить мозаику из рук. Я пнул решетку.

Он поднял голову, резко вскочил и залез на стул, чтобы открыть окно. Нас разделяла грязная решетка, вся в подтеках собачьей мочи. Пытаясь перекричать шум дороги, он спросил:

– Хочешь забрать мозаику?

Я покачал головой и отскочил назад:

– Если хочешь, можем вместе собрать, заходи... – предложил он.

Он уже не так стеснялся. Наверное, то, что он был у себя дома, стоял на своем стуле, придавало ему смелости. За спиной Костантино его мама добродушно кивала, приглашая меня войти. Она жарила картошку и выкладывала ее на коричневатую бумагу для выпечки.

– Поужинаешь с нами?

От картошки так вкусно пахло, что внутри у меня все скрутило. Я чуть было не заплакал. Прежде чем уйти, я несколько секунд простоял у окна, прямо перед ними.

Костантино вынес мозаику во двор, чтобы клей подсох, и положил ее на старый облупленный стул, стоявший в углу, куда ненадолго заглядывало зимнее солнце. Быть может, он специально хотел, чтобы я ее увидел. Он собрал ахейского воина, у которого не хватало части лица и щита. Должно быть, когда коробка упала, некоторые фрагменты потерялись или разбились. Я посмотрел в одинокий глаз воина, на месте второго была пустота. Этот образ вошел в меня, и, прорезав время, во мне вспыхнуло и тут же погасло предчувствие, которое я не успел ни осознать, ни разгадать. От него осталось лишь чувство пустоты, ощущение прыжка солдата-тиком, озноб от порыва сурового ветра.

Через два дня я выкинул из окна палатку. Это был единственный подарок, которым я дорожил. Он оказался очередным обманом. Никто не собирался идти со мной в поход. Я поста-

вил палатку в спальне и месяцами жил в ней, устроив дом в доме. Домработница наклонялась и ставила тарелку у входа. В палатке я делал уроки, играл на синтезаторе, спал. Я просыпался в брезентовом чреве с задраенными молниями мокрый от пота, а потом лежал нагишом под оранжевым небом. Однажды я решил, что с меня хватит, и выбросил палатку в окно. Сам не знаю почему. Выбросил самое дорогое, что у меня было.

Костантино подобрал палатку, взглянул наверх. Я ждал, что вот-вот раздастся звонок, что он придет, чтобы вернуть ее, но никто не пришел. Я спустился во двор: палатки не было. Я молча вернулся домой.

Наверное, Костантино отнес ее на берег Тибра, на грязный илистый пляж, где частенько играл с такими же, как он, мальчишками из бедных семей: сыновьями консьержей, механиков, мелких торговцев. Быть может, моя палатка стала пристанищем для игр этих ребят, которые в летние дни торчали на пляже до самой темноты. Они строили замки из песка и ловили рыбу. Однажды я увидел их на берегу. Они играли в лапту. Костантино сидел на корточках, руки на коленях, другие прыгали ему на плечи. Башня из потных тел, раскачивающаяся под грузом детского смеха.

Прошло время, пришли муки отрочества. Я напоминал себе мышь, угодившую в эру динозавров. Сначала вытянулись девочки. Уже к восьмому классу казалось, что в классе сидят мальчишки и много-много учительниц. Они шептались о своих девичьих секретах, в их взглядах читалась мечта о прекрасном принце, а в глубине загорались дьявольские искорки.

Настало лето. Двор постепенно опустел. Остались одни старики, магазины закрылись. Костантино, в майке цвета хаки, поливал из шланга дворовые дорожки. Его сестра стояла на лестнице и играла с йо-йо. Она тоже подросла: ходила на каблуках и утягивала талию поясом, чтобы подчеркнуть недавно обретенную грудь.

Привольнее всего мне было на море. Бабушке помогала приходящая женщина, но она не занималась мной, так что я мог сидеть на пляже совершенно один. Это был старый огороженный пляж, куда ходили лишь семьи, знавшие друг друга тысячу лет. Невозмутимый спасатель не отрывал от воды равнодушного взгляда.

Я ждал волны, ждал, когда со дна накатит морская пощечина, когда меня захлестнет очередной водоворот. В плавки набивался песок, пенис от холода становился совсем маленьким. Впервые в жизни мне было скучно летом на море. Ребята собирались под огромным зонтом, играли в мяч с девчонками, резались в настольный футбол на террасе. Еще прошлым летом мы таскали друг друга за ноги и наши задницы ровняли песок на волейбольной площадке, но теперь никому до этого не было дела. Все нацепили темные очки, напялили модные плавки и весь день напролет торчали у музыкального автомата. Появились первые фрисби, и я проводил весь день на пляже, запуская пластиковые тарелки. С утра до вечера я трудился, как на работе.

Произошло еще кое-что. Однажды я бродил вдоль берега и зашел так далеко, что перестал узнавать окрестности. Повсюду лежали брошенные лодки, неподалеку виднелся сарай школы парусного спорта. Днища лодок торчали из песка, точно гигантские панцири каракатиц, пожелтевшие на солнце. Довольно долго на берегу не было ни души, за все время мне встретился лишь человек, который выгуливал сенбернара, да и тот уже ушел так далеко, что казался маленькой точкой. За сараем простирались песочные дюны, маячили высокие хохолки испанского дрока. Я смотрел вдаль, на закат, где воды залива сливались с высокими темными скалами. Цвет неба напоминал мне о рае, выброшенные на берег сучья и ветви отливали серебром. Я снял футболку и нырнул в воду. Волны подхватили мое тело, поволокли его вглубь, а затем вытолкнули на поверхность. Я словно родился заново. Сначала я безвольно покачивался на гребне волны, а потом принимался лупить ладонями по волнам как сумасшедший, словно желая надавать морю пощечин. Я качался на волнах, стоя по пояс в воде, когда услышал, что кто-то меня зовет. У самой кромки воды стоял человек. Он махал рукой и подзывал меня, как

спасатель, который приказывает возвращаться на берег, словно хотел предупредить об опасности. Я обернулся, пытаясь разглядеть неведомо что, будто ожидал увидеть за спиной акулий плавник. Затем я растерянно побрел к берегу, высоко задирая ноги и постепенно ускоряясь. Человек стоял против солнца, из-за брызг его было не разглядеть, поэтому, прежде чем я понял, в чем дело, мне пришлось подойти к нему слишком близко. До того как наступило прозрение, я успел сделать еще один шаг. Трудно описать, что именно я ощутил: точно огромная медуза коснулась моего лица и больно обожгла.

То, что человек был совершенно голым, я даже не заметил, я старался на него не смотреть. Глаз уловил лишь, как он дернулся и что-то огромное и сизое мелькнуло у него между ногами. Он высунул язык и размахивал прямо передо мной своим членом, не сводя с меня взгляда. Недавний рай обернулся адом, моя жизнь опрокинулась с ног на голову. Я почувствовал его силу. Меня охватил дикий ужас, но его выдавали только глаза. Я не смог бы описать ни его тела, ни лица. Он мастурбировал прямо передо мной, я слышал, как он пыхтит, видел, как движется его кулак. Так близко, что ему достаточно было протянуть руку, чтобы схватить меня. Я осмотрелся по сторонам, надеясь увидеть хоть кого-нибудь. Только теперь я понял, что вокруг на несколько миль никого нет, что уже поздно, что я заледенел. Мое тело покрылось холодным потом. Я стоял и смотрел на смерть, скользя взглядом по полю битвы.

Мужчина был мускулистым и загорелым, на бритой макушке повязана тряпка. Он стоял, выпрямившись во весь рост, зажав в руке огромный сизый член. В тот страшный день я открыл в себе нечто прежде неведомое. Я понял, что я смельчак и что смелость моя граничит с безумием. Смелость мазохистов, смелость самоистязателей. Смелость быть жестоким.

Возможно, это был и не насильник, а просто эксгибиционист, но я решил не проверять. Я не выказал страха, чтобы не спровоцировать нападение. Не закричал, не упал на песок, не бросился обратно в море. Я просто прошел мимо, будто ничего не заметил, словно его и не было. Я думал, он меня схватит. Он мог бы изнасиловать меня и убить, а я не издал бы ни звука. Уходя, я испытывал к нему жалость. Как всякая жертва, охваченная предсмертным отчаянием, я испытывал сострадание к собственному мучителю. Я чувствовал, как на меня повеяло холодом его извращенного одиночества.

Человек с сенбернаром возвращался назад. Быть может, это меня и спасло. Извращенец прыгнул в море, поплыл вдаль и долго не выходил из воды. Позже я узнал, что в той части пляжа собирались нудисты и геи, которые занимались любовью прямо на берегу.

Домой я вернулся в полуобморочном состоянии. О том, что случилось, я никому не сказал. Меня накрыло волной страха, он неотступно следовал за мной, точно я был крабом, которого вынесло на берег приливом. Перед глазами снова и снова возникало видение темного набухшего пениса. Я спрашивал себя, почему это случилось именно со мной. Кто знает, быть может, я показался ему странным, не таким, как все. Я чувствовал, что сам спровоцировал его, оказался слишком подходящим объектом желания.

Я стал бояться всех, кто обращал на меня внимание, мне казалось, что сейчас кто-то поймет, что я не такой, как все, и обнажит пенис прямо передо мной. Я опять строил песочные замки с малышкой и зарывался в песок.

Как-то раз я схватил одного из этих мальчишек, его загорелая кожа была покрыта светлым пушком. Я принялся смотреть на него, не отводя глаз. Первоначальная шутка быстро переросла в нечто куда более серьезное. Я уставился на него остекленевшим взглядом и вдруг почувствовал такую власть над этим невинным маленьким существом, что в этом ощущении растворились все мои потаенные страхи. Между ним и мною возникла тайная жестокая связь. Он едва сдерживал слезы. Малыш продолжал ковырять песок лопаткой, но я чувствовал, что он уже отделился от группы и не надеялся освободиться. Я видел, что он изнывает от страха и отчаяния. Ловушка захлопнулась, и он это понимал. Если бы я встал и пошел прочь, он бы безропотно последовал за мною. Я продержал его в заложниках около полчаса. Чувствовать,

что я могу повелевать беззащитным созданием, не притронувшись к нему даже пальцем, было приятно. Потом я опустил глаза и позволил ему уйти, он побрел к лежаку, на котором загорала его мать, молча прижался к ее ногам, намазанным маслом для загара, и грустно притих. Если бы он захотел пожаловаться, ему все равно было бы нечего сказать. И все же он чувствовал, что над ним надругались, что его отбросило куда-то далеко-далеко. Я это знал, я ведь и сам испытал этот животный страх. Я смотрел на волны. Я был уже не тот, что прежде.

Летом сын консьержа обычно уезжал в Апулию, к дедушке и бабушке. Там он мог кататься на велосипеде и дни напролет болтать на местном диалекте со старыми приятелями. Осенью он появлялся во дворе возмужалым, с заговорщицким видом, словно в деревне он приобщился к чему-то притягательному и запретному.

Когда я зашел в подъезд, он сидел в каморке на месте отца. В проеме двери в свете сентябрьского солнца из тени проступила его большая фигура. «Привет». Я едва узнал его. За лето он сильно вырос. Мать вышла к нему и передала судки, аккуратно обернутые полотенцем. Была среда. Первый час дня. Пиццерия на углу не работала, поэтому Костантино должен был отнести обед моему дяде. Дядя Дзено ненавидел жару и толпу и летом никуда не уезжал. Просто включал вентилятор и бродил по квартире в камчатном халате, отороченном красной каймой, точно древнеримская тога. Он частенько надевал его поверх обычной одежды.

Я вызвал лифт – тот был где-то наверху. Костантино задержался. Мы немного поболтали, уже без того взаимного презрения, которое прежде нередко возникало из-за детской робости и одиночества. Мы никогда не были друзьями. Мне было неприятно, что в наше отсутствие он вместе с отцом может спокойно расхаживать по моей комнате. Каждый раз, отыскивая какую-нибудь мелочь, в глубине души я винил сына консьержа в ее пропаже. Мне не приходило в голову пожаловаться маме. Она говорила, что они – самые честные люди на свете.

– Ты идешь?

Он покачал головой, но потом все же зашел за мной в кабину. Мы стояли в лифте, который шел вверх; тросы поскрипывали. Я посмотрел на него в зеркало. Он был несуразно рослым, рядом с ним я казался себе маленьким и гадким. Вокруг витал запах судков, запах свежеприготовленного томатного соуса.

– Что это?

– Картофельные клецки.

– Круто.

На детском лице, совсем не подходящем к такому огромному телу, мелькнула грустная улыбка. Казалось, ему тоже неловко. Он поднял голову и посмотрел наверх, за решетку. Его шея оказалась прямо передо мной: по горлу вверх-вниз двигался кадык, словно он сглатывал слюну.

В октябре мы вдруг оказались в одном классе. В нашем районе был всего один лицей, он славился демократическим уставом. Внушительное громоздкое здание восьмиугольной формы, разбегающиеся во все стороны коридоры, бурлящий поток учеников. Костантино сидел впереди, у окна. Нас разделяло несколько парт. Я мог разглядывать его спину, смотреть, как елозит по парте его локоть, когда он пишет. Мне было видно, как стиснуты его колени. Так он и просидел целый год. Мы словно не замечали друг друга. То, что мы были знакомы, еще больше разделяло нас. Трудно сказать почему.

Он превратился в крепко сбитого подростка. Парень как парень, среднего роста. Одевался он бедно, убого: дешевые брюки, сшитые неизвестно где, обтягивающий свитер из грубой шерсти... Он подрастал, а вещи словно сжимались на нем, и скоро стало видно оголенную поясницу. Я смотрел на его белую кожу со следами растяжек. Будто он раньше был толстым, а потом вдруг резко, без всяких причин похудел. Голос у него тоже изменился: в новом металлическом тембре вдруг проскальзывали резкие, высокие, точно у евнуха, нотки. Через несколько месяцев от них не осталось и следа. Период ломки закончился, голос Костантино стал низким и глубоким. Когда его вызывали отвечать, он всегда смотрел в пол, стоял, плотно прижав руки и широко расставив ноги. Успехами в учебе он не выделялся, достойно и гордо шагая по полю книжной премудрости. Какую бы отметку ему ни поставили, он всегда благодарил учителя и спокойно возвращался на место, слегка враскачку, наклонив голову вперед. Так прошел целый год, за который между нами выросла непреодолимая стена. Но именно за этот год, что мы провели в совершенно чуждых мирах, мы словно заново почувствовали друг друга. Каждый из нас словно пытался проникнуть в неведомый мир другого.

Однажды я заметил, что с моим лицом что-то происходит: кожа словно растягивалась изнутри. Очень скоро лицо покрылось прыщами, превратилось в огромную красную планету, испещренную кратерами вулканов. На скудной земле с трудом пробивалась редкая растительность. Я мазал лицо вонючей смесью с добавлением глины, и она впитывалась, пока я делал уроки. Чтобы хоть как-то скрасить недостатки внешности, я отрастил волосы. Я постоянно откидывал голову, чтобы обратить на них внимание, часто мыл голову. Через несколько месяцев я сменил и стиль одежды. Я облюбовал английскую моду: широкие брюки, голубоватые очки. Я превратился в пародию на Джона Леннона: худой и жалкий, низкого роста, этакий комар, вырядившийся, как звезда эстрады. Костантино стал брить голову. Он часто потирал затылок с такой силой, словно пытался выкинуть из головы назойливую и неприятную мысль. Он ходил в секцию водного поло. Я же сбежал из бассейна, едва отходив три абонементов. Под его партой всегда лежал пакет с плавками и полотенцем. Он несся на тренировку, на ходу разворачивая завернутый в фольгу бутерброд. Говорили, что он один из лучших. Никогда и никому не удавалось притопить его.

Мы часто шли вместе до перекрестка, после чего Костантино сворачивал к бассейну. Его удаляющаяся фигура навсегда осталась в моей памяти: крупное, еще не сформировавшееся тело, склоненная голова, руки вдоль тела – грабли, брошенные у стога сена. Если смотреть на человека сзади, в его фигуре можно разглядеть отпечаток судьбы. Со спины мы выглядим так, словно от нас отделилась неведомая частичка души, вобравшая в себя все страдания, мысли, надежды ушедших поколений. Они восстают против последнего свидетеля, который знает об их существовании, толкают его вперед и вперед и в то же время словно насмеваются над ним и над теми горестями, что ожидают его на жизненном пути.

Одноклассники частенько потешались над ним. Я и сам был не прочь посмеяться. Мне было смешно смотреть, как он ходит. Он шел быстро и решительно, и все же какой-то стопор внутри мешал ему двигаться. И если бы мне захотелось определить, где же находится центр

тяжести того плуга, что движется меж комьев земли этого незрелого тела, тормозя махину туловища, я без труда нашел бы его, скользнув по позвоночнику, между лопатками, к маленькому выступу копчика. Той самой косточки, что когда-то, в давние времена, служила началом хвоста, утраченного человеком в ходе эволюции. Сын консьержа казался мне Минотавром, которого Кронос заточил в страшном лабиринте.

Мне было неприятно, что мы в одном классе. Я старался не замечать его, а он меня. В классе он ни с кем не общался, предпочитая нам старых друзей из средней школы. Они уже работали или поступили в ремесленные училища. Костантино занимался прилежно. Он был из тех, кто сознает ограниченность собственных способностей и старается особенно не выделяться, но и не позволяет себя унижать. В гудящей аудитории он умудрялся оставаться незаметным. Класс подобрался непростой: каждый был личностью с живым умом, болезненной гордостью и желанием уязвить, обидеть другого. Точно эти ребята уже предчувствовали, что очень скоро повзрослеют и займут достойное место в обществе. Удивительно, что так оно и случилось, и этот день неукоснительно приближался, так что ни о каком неведении говорить уже не приходилось. Бунтари и мятежники по натуре, наши одноклассники все еще жили детскими идеалами, но так или иначе уже укоренились во взрослом мире.

Если мы сталкивались в коридоре или при входе в класс, Костантино замедлял шаг и пропускал меня вперед. Он вел себя подчеркнуто вежливо, словно швейцар. Меж тем он молча наблюдал за окружающими, будто стоял в нашем дворе и оглядывал окна жильцов. Он выглядел зажатым. Согнувшись за партой, он краем глаза ловил каждое движение в аудитории, а затем заглатывал немного воздуха и тяжело и долго выдыхал. Наверное, это помогало ему снять напряжение.

Но почему он решил поступить в гуманитарный лицей, а не в училище, как его друзья? Было видно, что ему трудно: он не мог поймать нить и выразить свои мысли, подобрать верную фразу. Его словарный запас был невелик, суждения поверхностны. Он просто зазубривал учебник, но, когда доходило до рассуждений, путался и отмалчивался. Было очевидно, что экзамены ему не сдать.

Но вот пришла весна, и, пока все одноклассники страдали от всплеска гормонов и интересовались чем угодно, только не учебой, Костантино неизменно получал «удовлетворительно». Дошло до того, что под конец года коренастый Костантино, благодаря своему упорству, заслужил признание учителя и получил «хорошо». В начале сентября я случайно заметил его на книжном развале на набережной, куда перекупщики подгоняли машины, набитые книгами. Я понятия не имел, что именно мы будем проходить в новом учебном году. А он сверялся со списком, листал учебники, внимательно проверял, в каком состоянии книга, не заполнены ли упражнения в учебной тетради. Он даже не заметил меня. Он прихватил с собой большой ластик и, пристроившись на лавочке, тщательно стирал чьи-то подчеркивания. В том, что он настолько заранее обо всем заботился, было что-то отталкивающее. Для меня это был вопрос принципа, его бедность отступала на второй план.

Я шагал вперед, оставляя на земле огненный след, потерявшись в хаосе собственных мыслей. За лето я прочел Достоевского. Сын консьержа отныне принадлежал для меня к той части человечества, что превращает мир в прибежище ничтожеств, наполняет его страданием и скорбью, давит землю собственным весом. Живет как мошкарка и беспечно плодится в стоячей воде болота, не подозревая, что мир не ограничивается жалкой лужей, полной тины.

Как-то раз Альдо подставил ему подножку. Не то чтобы он часто хулиганил. По сути, Альдо был добрым малым, но этот поступок стал одним из первых, предвещавших, что очень скоро его доброта рассеется, подобно свету спички. Пока же ее слабый свет еще придавал ему некое очарование. Никакого четкого плана у Альдо не было, он просто хотел помериться силой

и бессознательно провоцировал окружающих с одной лишь целью: понять, как устроена жизнь. Он чувствовал, что она от него ускользает.

Пока сын консьержа шел между партами, Альдо выставил вперед ногу-палку, и тот упал. Все засмеялись. В душе я сочувствовал Костантино, но ни за что на свете не отказался бы испытать чувство заговорщицкой эйфории, которая хоть немного скрашивала нашу школьную жизнь. Как голуби, мы слетались к тому, кто подсыпал пшена. Он становился властителем наших сердец.

Костантино разбил губу. Альдо протянул ему надушенный платок. Тот гордо оттолкнул его, встал и выругался, послав нас куда подальше. Мы ждали, что будет. Каждый думал о том, что Костантино сейчас пожалуется учителю и нас всех отстранят от занятий за хулиганство. Но он гордо уселся на свое место и не сказал ни слова.

Вскоре он вошел в нашу компанию. Мы встречались, хохмили, устраивали розыгрыши. Он улыбался, но словно издалека. И не оттого, что его семья была бедной, а мы были обеспеченными и потому беззаботными подростками, – скорее, он по природе своей не мог отделиться порыву безумия. Словно, еще будучи ребенком, он уже думал о будущем, об ответственности, о долге. Теперь-то я понимаю, что он просто боялся других парней.

Однажды на чьем-то дне рождения мы его подпоили. Он выпил гораздо меньше остальных, но все равно опьянел. Его непроницаемое лицо просветлело, он начал хохотать. Мы потешались над ним, как посетители зимнего зоопарка над притихшим зверем. Потом его стошнило. Всю дорогу домой он только и делал, что извинялся. Мы избавились от него, как от надоевшей игрушки.

Как и все парни, я торчал перед зеркалом со спущенными штанами, но надолго меня не хватало. Я был хуже других – пародия на мужчину, слабак, ходячее недоразумение. Мой пенис напоминал палец, из которого вытащили кость. Но я умудрялся иронизировать по этому поводу и поводил лопатками, которые выдавались из спины как два крыла. Я был гениальным уродцем. В облегающем английском костюме, я не особо страдал от комплекса неполноценности. Конечно, я не был Нарциссом, но и не стеснялся своей внешности. Я считал, что во мне есть особое очарование: резкие движения, романтическая нервность... В разговоре я любил едко пошутить и этим обескуражить собеседника. На уроках я сам решал, когда мне следует хорошо ответить и заслуживает ли мой ответ хорошей оценки. Я научился приспосабливаться к собственной внешности и умудрился начесывать волосы так, чтобы скрыть чахлую растительность на щеках.

Так прошел год. А вокруг затряслась земля. Мои одноклассники рыскали по улицам, как хищники, в поисках добычи. За ними вздымалось облако пыли, земля содрогалась под их весом. Многие сидели за партами, держа в руках мотоциклетные шлемы и толстые цепи, которые можно было пустить в ход для обороны или нападения. Наши шутки и голоса поглубели. Они все больше напоминали о том, что мы становимся мужчинами; руки вечно тянулись к паху. По утрам в наших спальнях стоял отвратительный кисловатый запах. На переменах девчонки собирались вместе и группками сидели на партах, как скучившиеся утки. У них появился особый язык, странная манера шутить, пошла в ход яркая косметика. Я смотрел, как друзья один за другим потянулись к утиной стае. Деление на мужчин и женщин состоялось. Я с любопытством внимал эротическим откровениям друзей. Как инвалид, наблюдающий за забегом спортсменов.

В какой-то момент я почувствовал, что на меня накатывает боль. Я так сильно жал на тормоза, что они сгорели. Порой мне удавалось раздобыть порножурналы. Разглядывая их, я испытывал смутное возбуждение, боль и отвращение. Почему-то думалось о смерти. Мне казалось, что от меня пахнет кладбищем. Я постоянно торчал в душе, пытаюсь отмыться. В те вре-

меня независимые радиостанции появлялись одна за другой, и я целыми днями пытался до них дозвониться, просил поставить какую-нибудь забытую композицию, спорил с ведущим, цитируя Герберта Маркузе, цитаты из которого заботливо переписывал в тетрадку. Я не слишком страдал, и если верить Данте, то пребывал скорее в лимбе, чем в аду. У меня не было четкого представления о самом себе, и потому я с легкостью заимствовал чужие идеалы и примерял чужие жизни.

Я искал лишь общества тех, кто казался мне привлекательней остальных. Я подражал их странностям, копировал прически. Внешне приветливый, я жил в замкнутом мире своей исключительности и потому не мог быть ни беззаботным, ни щедрым. У меня не было ни одного из качеств, которые способствуют зарождению дружбы. Я доходил до перекрестка и шел домой, черный голод грыз меня изнутри. Теперь мне даже нравилась пустота комнат и длинный коридор нашей квартиры, нравилось есть в одиночестве перед открытым холодильником.

Ужасное происшествие надолго выбило меня из колеи. Во время отстойной вечеринки в дни карнавала в дурацком натяжном павильоне скакнуло напряжение и взорвался усилитель. На мне не было ни маски, ни костюма, я даже не танцевал. Из всех причиндалов у меня была только пластиковая дубинка и накладные вампирские клыки, которые я, боясь показаться ребенком, спрятал в карман. На улице лил дождь. Я стоял рядом с усилителем и уже собирался уходить, как вдруг меня отбросило на пол. Я почувствовал что-то похожее на удар молнии. Меня подбросило, а потом согнуло пополам. Шатаясь, оглушенный и ослепленный, я прикрывал уши руками. Со сцены раздавались завывания Донны Саммер, диджей в наушниках ничего не заметил, ведьмы и ковбои продолжали невозмутимо корчиться, словно ничего не произошло.

Ко мне нагнулась серая морда зомби. Из-под маски доносились какие-то слова, но я ничего не слышал. Парень подхватил меня за плечо. Мы с трудом протиснулись к выходу. Под пеленой дождя зомби снял маску, и я узнал нелепые черты Костантино, по его лицу стекали капли дождя.

– Гвидо, ты как? Гвидо...

Я продолжал зажимать уши руками. Я раскачивал головой из стороны в сторону, стараясь отогнать эхо взрыва, звеневшее в ушах. Мне хотелось расплакаться, закричать: «Мама, мамочка!» – стать на миг неразумным младенцем. Быть может, я и правда плакал. Я упал на землю, а Костантино склонился надо мной. Мне было не до него: я боялся, что навсегда останусь глухим. Он обнял меня за шею, попытался приподнять, продолжая что-то говорить, но я по-прежнему ничего не слышал. Меня отбросило куда-то далеко, страх поглотил меня. Я ухватился за его плечо, как будто меня сбила машина и на помощь подоспел случайный прохожий.

Я валялся на земле, а мой нечаянный друг обнимал меня, невзирая на бешеный ливень. Дождь лил как из ведра. Губы Костантино двигались, и я уже мог различить какие-то звуки. Уши вроде бы улавливали окружающий шум, но эхо взрыва еще не рассеялось и нависало над остальными звуками. Волнами накатывала тошнота. Я лежал под дождем, который отзывался внутри меня бешеным биением сердца, оно то ускорялось, то замирало. Я чувствовал себя выброшенной на берег рыбой, бьющейся на песке, умирающей рыбой. Я лежал в объятиях зомби, который не боялся ни ветра, ни дождя. В слабом свете я видел его лицо, его шевелящиеся губы. Маска, болтавшаяся на шее Костантино, размокла. Дождь стекал по его волосам, бил по щекам, а из раскрытого рта вырывалось свежее дыхание, запах весенней травы. Холодная рука гладила меня по лицу, по волосам. Он склонился надо мной, точно хотел вдохнуть в меня жизнь. Его черты то прояснялись, то расплывались. На мгновение мне почудилось, что у него лишь один глаз, что он ахейский воин с той самой мозаики. И в ту же минуту единственный глаз превращался в сотни, в тысячи.

Когда у меня в голове прояснилось, я увидел абрис фигуры, вырванной из пелены дождя, на фоне которого копошились кричащие тени. Его взгляд был одновременно покорным и муже-

ственным, отцовским и материнским. Костантино был рядом со мной, надежный, верный, – мы никогда не были так близки. Теперь это был уже не случайный прохожий, это был он. Мне хотелось прогнать его. Я сделал это потом, резко вскочив на ноги. Но пока я не мог сдвинуться с места, повисла длинная пауза и я ясно видел смущенное лицо, по которому скользнула тень радости, словно всю свою жизнь он только и ждал, когда мы наконец сможем поверить друг другу и стать ближе. Не веря своим ушам, я слушал глухой голос, который просил меня подняться, но в то же время глаза молили остаться. Чей голос я слышал, мой или его? Голос, завладевший мною, когда дикий свист разорвал тишину. Лицо Костантино казалось до боли родным и прекрасным. Я снова и снова возвращался мыслями к мгновению откровения и боли, к мигу погружения в глубину инфразвука.

Мы молча шагали в сторону дома, кажется, первый раз за все время мы шли вместе. Я все еще прижимал руку к уху, – без сомнения, барабанная перепонка лопнула. Дождь немного стих, на асфальте поблескивали следы недавних потоков. Мимо нас проходили ряженные, мелькали цветные парики, резиновые дубинки, мужчины с нелепыми шерстяными косичками. Костюмированная толпа обдавала нас криками и гвалтом. Люди сновали вокруг, галдели, окружали нас и казались огромными яркими рыбами. Вечер еще не кончился, все шли в одну сторону, стремясь к центру города. Мы одни шли против толпы. Я мечтал поскорее добраться до дому и обо всем забыть. Костантино опять напялил свою маску. Мы расстались на лестничной клетке. В щели меж мокрой штукатуркой пробивались побеги мха. Костантино стоял у двери в подвал, в дурацкой маске зомби.

Меня обуревал страх остаться глухим. Я слышал шум, различал речь, но звук взрыва – резкий свист точно застрял в моей голове. Мой слух стал каким-то другим, словно взрывом выбило дверь, а ржавые петли искорежили ухо. Кроме этого свиста, мне открылся целый мир новых звуков, искаженных, незнакомых, других – острых, страшных, невинных. Я постепенно удалялся от того, что меня окружало. Мать сводила меня к врачу. Когда это не помогло, отец подключил знакомых, и меня осмотрел известный отоларинголог. Он не обнаружил ничего особенного, перепонка была цела. Он вычистил ушную пробку, по шее потекла темная склизкая жидкость. Несколько часов все было нормально. Но потом звук только усилился, теперь, когда заглушка исчезла, он врвался в меня, как вой сирены в глубину тоннеля.

Я почти не выходил из дому, старался избегать шумных мест. Я боялся, что внутри меня что-то взорвется. Брат моего отца умер от аневризмы, и я думал, что настал мой черед. С шестнадцати лет я уже задавался вопросом о глубинном смысле собственной жизни. Я смотрелся в зеркало и покорялся наказанию. Из зеркала на меня смотрел живой труп, а за ним текла широкая река моего недостижимого будущего. У меня не будет ни дома, ни жены, ни детей, ни единого стоящего проекта, ни одной реализованной идеи. За несколько месяцев я совсем повзрослел. Отрубленная голова моей судьбы свешивалась с худеньких плеч, я затеялся в пустыне лиц и событий. Я потрясал сломанным копьем, закидывая его подальше от вечности, где все повторялось, все имело ценность, где за каждым событием крылся лабиринт горя и боли. Время шло, а я, точно греческая статуя, точно молодой Аполлон, возвышался над страданиями смертных, обнимая холодное вещество, в котором заключались мои представления о жизни.

У нас начались лекции по философии. «Начало начал», воздух, вода, сущее. Суть и конечность Вселенной. Размышления об этих понятиях стало моим спасением, я отдалялся от мира и погружался в себя. Гераклит отдался на растерзание диким псам, мое же нутро терзали огромные клешни. И звук, слышимый лишь мне, был для меня единственным истинно сущим в мире. Я стягивал книги ремнем, одевался и шел в лицей. Странная конусообразная тень падала на мою парту. В ушах раздавался легкий свист, точно песок просыпался в часах. Мои нервы

были сплошь рваные струны. Я стал раздражителен, тербил себя за нос, выпучивал глаза. Внешне я тоже преобразился: не раздеваясь, укладывался спать, выходил на улицу в пуховике поверх мятой футболки, становился все более нелюдимым. У каждого подростка свои странности, так что никто в нашем классе особо не удивлялся. То было тяжелое время: каждый из нас жаждал крови, искал жертвы. Я всегда держался немного позади остальных, боялся резких звуков, сирен, громкоговорителей.

В апреле мой греческий скатился ниже некуда, учитель английского меня терпеть не мог, начались проблемы с физикой. Этот тройственный союз поставил под сомнение мой итоговый балл в аттестате. Мать встречалась с преподавателями и убеждала их в том, что я немного отстал в развитии. Мне совершенно не нравилось, что, произнося это с невозмутимым и честным лицом, она подыгрывала тем, кто считал меня умственно отсталым. Я стал грубить. Однажды после обеда я зашел в церковь, встал пред алтарем и принялся богохульствовать, прижав руки к паху, точно перебирая четки.

Наконец-то гормональная ломка закончилась. Мое тело распрямилось, нос вытянулся, глаза запали. Волосы торчали пышным блеклым кустом. Я впервые рассмотрел собственную сперму, и мне показалось, что она мало чем отличается от растаявшего свечного воска. Я начал пить. Сначала таскал бутылки у отца, забирался на кровать, выковыривал пробку швейцарским ножом. Я отключался. Винный прибор сшибал меня с ног, заглушая все звуки, все внутреннее и внешнее. Наконец мне удавалось заснуть. Среди ночи я резко просыпался, подскакивал на постели, испугавшись, что падаю в пропасть. Огромные клешни не отпускали меня даже в аду. Учиться стало невероятно тяжело, я побледнел, сердце словно отказывалось биться. Мои глаза помутнели. Я понял, что такое настоящее горе. Тело казалось мне врагом, точнее, огромным тоннелем, полным вражеских армий, вооруженных солдат, что изнутри протыкали меня штыками. Спустя полгода я выглядел как старый бродяга, хотя мне было всего шестнадцать.

Были ли у меня какие-то предчувствия, подозрения? Ничего такого память не сохранила. Звук, что звенел в ушах, отдалил меня от мира, и я замкнулся в болезненном внутреннем пространстве. Сейчас уже можно сказать, что это был первый признак того, что случилось потом. Первый симптом. Сейчас прояснилось многое, о чем я тогда даже не помышлял. Я жил день за днем без особых раздумий.

В тот день в лицее было собрание, я возвращался домой. Костантино замедлил шаг, чтобы я догнал его. Я давно не встречал его нигде, кроме школы. Его присутствие раздражало меня, я испытывал беспокойство, которое стало моим постоянным спутником, вроде гремящих жестянок на палке прокаженного. Передо мной возникло знакомое глупое лицо.

– Сегодня играем.

Он говорил с набитым ртом. Прожевав, Костантино протянул мне бутерброд с омлетом:

– С этой стороны я не откусывал.

У него тряслись руки. Я откусил, с трудом заставив себя проглотить жареное яйцо. Он улыбнулся:

– Да ты проголодался.

Нет, дело не в этом, приди я сейчас домой, я бы и не притронулся к еде.

– Не хочешь посмотреть?

– На что?

– На игру. Нам нужны болельщики.

Сам не знаю, как это произошло, но через несколько минут я уже сидел под пластиковым куполом, вдыхая тяжелый запах хлорки и пара. На мне был свитер, пот катился градом. Костантино снял махровый халат и остался в одних плавках. Он слегка подпрыгивал, разогреваясь. Он натянул шапочку, вставил в уши затычки и технично прыгнул в воду. Совсем без брызг. Проплыл баттерфляем до конца дорожки, выпрямился и помахал мне рукой. Ватерпо-

листы выстроились полукругом, игра началась. Костантино был центральным нападающим, он плыл вдоль ворот, передвигая ногами, точно лезвиями ножниц, и его крепкое тело казалось огромным непотопляемым буйком: никому не удавалось утащить его под воду. В бассейне стоял адский гул. Две девицы рядом со мной орал как сумасшедшие, после каждой атаки они топали ногами и хлопали в ладоши. Некоторое время я сидел, зажав уши руками, но потихоньку втянулся. Я не знал правил, но понял, что нельзя хватать мяч двумя руками или удерживать его под водой. Я стащил с себя свитер и вытянул ноги. Скоро я вошел во вкус.

Противники были из маленького клуба на окраине города – крупные, крепкие парни, настоящие водные гладиаторы. На их спинах и бицепсах красовались пошлые татуировки. Они скользили по воде, точно крокодилы, – блестящие тела изворачивались, продвигаясь взад и вперед, и неожиданно взмывали на поверхность мощным рывком. Они били по воде, поднимая брызги, чтобы обезоружить противников, нарушали правила, под водой старались незаметно толкнуть игрока или помешать. Судья засвистел; девушка рядом со мной потребовала удалить игрока за грубое поведение. Костантино боролся как лев и дважды забил, но команда все равно проиграла: отрыв был слишком велик. Я превратился в настоящего болельщика. Мне хотелось плюнуть в лицо татуированным наглецам, я был взбешен. Еще один миг, и я уже стоял рядом с двумя девицами и, засунув два пальца в рот, свистел что было мочи. На пару часов я забыл обо всех проблемах.

Костантино вылез из бассейна и сел на пластиковый стул. Он даже не вытерся: сразу опустил голову и сжал ее обеими руками. Другие парни надевали халаты и шлепки и шли в раздевалку. Но он не шевелился. Я подошел:

– Ну, я домой.

Он не сдвинулся с места, не поднял голову. Казалось, что он меня не слышит.

– Ты как?

Он был похож на огромную пыхтящую лягушку. Через несколько секунд я обернулся и увидел, как он вскочил со стула и вцепился в волосатые ноги соперника, который подошел слишком близко. Тот парень, что доставал его во время игры, на суше выглядел еще страшнее. Он снял шапочку. Показался большой, покрытый кровеносными сосудами затылок. Парень смачно высморкался, прочищая ноздри. Костантино набросился на него и повалил на пол. Они молча схватились, точно два аллигатора на речной отмели. Костантино оказался проворней соперника, он напоминал осьминога, обхватившего жертву со всех сторон. Он крикнул что есть мочи:

– Повтори! Повтори, что ты сказал!

– Ничего.

– Ну то-то же!

Костантино ослабил хватку; татуированный гигант вырвался, выловил шлепанец, что плавал в бассейне, отошел в сторону и сплюнул. Потом что-то пробормотал и смачно рассмеялся. Слов я не расслышал. Костантино направился к нему, поднял руки, словно сдавался, что-то сказал. И вдруг изогнулся и ударил его головой в живот. Соперник зашатался, сделал несколько шагов назад и упал в бассейн. Вскоре он появился на поверхности, зажав рукой нос, из которого шла кровь.

– Ты совсем спятил?

Он униженно озирался по сторонам, точно не понимая, как могло случиться, что он рухнул, как кегля.

– Этот урод совсем спятил...

Я ждал на улице. Когда Костантино вышел, от него пахло хлоркой и гелем для душа. Вода с мокрой головы стекала за воротник рубашки. Было довольно прохладно, и я сказал, что так недолго и заболеть, но он только пожал плечами:

– Я никогда не болею.

Так оно и было, не помню, чтобы хоть раз он пропустил занятия. Мы заговорили о драке. Я перенервничал – не подозревал, что он может быть таким жестоким. В его глазах горел незнакомый, дикий огонь. Как у того, кто отведал вкус крови.

– Ты ведь мог его и убить.

– Ну мог.

Мы шли рядом. Жестокость поднимала во мне какую-то сладостную волну.

– Что он сказал?

– Забей.

Я воображал себе что-то очень оскорбительное.

– Да ладно тебе.

– Предложил отсосать у него.

Мы согнулись от смеха. Он вдруг остановился и вытащил из кармана зажигалку. Вспыхнул огонек, который он затушил, подув на него изо всех сил.

– Сегодня мой день рождения.

Я вытянул руки и похлопал его по плечам. Он не отстранился, стоял не шелохнувшись.

– Поздравляю.

Потом мы решили пойти в кино. Хотели попасть на «Челюсти», но на этот фильм даже в первом ряду не было ни единого места. Мы пошли по улице и скоро добрались до следующего кинотеатра. Поглазели на афиши, зашли в фойе – погреться. На улице похолодало. Старый зал, скрипящие кресла, запах сигаретного дыма... Мы даже не знали, как называется фильм. Поначалу сюжет показался нам скучным и затянутым, а актер слащавым. Но потом мы уперлись коленками в спинки передних кресел и погрузились в действие. Когда сеанс закончился, мы долго молчали. Голова разрывалась от новых мыслей, которые теснились, насакивали одна на другую, сталкивались, как бунтовщики в дни революции. Быть не таким, как все, чувствовать себя изгоем... Мы принялись спорить, обсуждать, что это значит. Это был наш первый серьезный разговор. В «Пролетая над гнездом кукушки» мы увидели нечто еще не прожитое, но словно хорошо нам знакомое. Нас точно ударило током. Я никак не мог остановиться, все говорил и говорил. Я же считал себя умнее. Но недостаточно было слов, чтобы передать то, что я чувствовал. Я думал о главном герое, о лоботомии, о собственном черепе, представлял себе снова и снова, как Костантино ударил парня головой в живот. Я почувствовал, что оживаю. Костантино молчал, его переполняло сочувствие и боль. Я был Рэндлом Макмерфи, он – Вождем Бромденом. Он, как никто, подходил для этой роли, его силы вполне бы хватило, чтобы оторвать от стенки раковину и разбить ею стекло, лишь бы воспрепятствовать лжи.

И снова пришла зима. Мы выросли и шатались по городу в поисках славы. Вместо обычного табеля с оценками нам впервые выдали вкладыш с описанием наших способностей и средними баллами по каждому предмету. В газетах писали о людях, которые видели летающие тарелки. Такие сообщения приходили со всех концов света. Даже Джон Леннон удостоился визита инопланетян. Я шел по улице, а внутри копошилось невольное ожидание, что вот-вот передо мной появится летающая тарелка и унесет в заоблачные дали, в лучший мир – в мир продвинутых технологий, где не будет ни чувств, ни лишних переживаний. Костантино начал курить. Он глубоко вдыхал табачный дым, наполняя им натренированные легкие.

У меня появился скутер, иногда я подвозил до дому девчонку. Подхватывал, точно почтальон посылку, и доставлял домой.

Я обнаружил, что девицы так и вертятся вокруг меня, и, хотя я всегда их презирал, ко мне выстроилась целая очередь. Я же унаследовал свойственную мужчинам нашей семьи эмоциональную глухоту и равнодушие к женщинам. То, что я ни с кем не встречался, сделало меня притчей во языцех. Я усиленно культивировал миф о себе, подкрепляя собственный имидж впечатляющими цитатами, и щеголял в роскошном дядине куртке а-ля Наполеон. В каждом дневнике я описывал себя якобинцем, изгоем эпохи романтизма, черные пряди обрамляли мое лицо, черные линии рассекали судьбу. Я совсем не следил за собой: не мылся, не менял одежду. У меня кровоточили десны, прохожие свистели мне вслед. Так прошла моя юность. Меня бросало в разные стороны. С высоты прожитых лет я вижу порывистого, экзальтированного подростка, так и не ставшего настоящим мужчиной.

Когда похитили Альдо Моро, из сортиров, пропахших марихуаной, донесся гул ликования. А потом по телевизору все крутили аудиозапись – тот самый роковой звонок. Мой отец без конца слушал ее и с каждым разом все сильнее сутулился. После очередного эфира он окончательно понурился и сник: «Во исполнение приговора» и далее по тексту...²

Преподаватель литературы положил перед каждым из нас анкету и велел заполнить. Через несколько дней мы всем классом поехали за границу.

Наш класс уже совсем сложился, все знали, кто псих, кто лидер, кто рядовой, – масонская ложа нелепых персонажей, сплотившихся для защиты от внешнего мира. Робертино у нас числился геем, это не было ни для кого новостью. Он по очереди влюблялся то в одного, то в другого из нас, весь класс уже перебрал. Его постоянно гоняли, но не со зла – слишком уж доставал. Не помню, чтобы его избивали или издевались. Мы были грубы и прямолинейны: стукнут – плачешь, пукнут – ржешь. Отличный класс: живые, умные ребята. Последовательные во всем.

Мы приехали в дождливую грязную Грецию. На Афины обрушились потоки воды. Мы карабкались на гору, где высился Акрополь, под зонтиками фотографировались перед Парфеноном: в обнимку с девчонками, бесившимся парням ставили рожки. Учительница истории сидела на камне Пентеликона и пробовала что-то рассказать, пока мы обменивались скабрёзными шутками по поводу карликовых пенисов древних греков. Мы были сплоченными, как афинская армия.

Но потом расселись на солнышке перед храмом, с крыши которого стекали капли дождя, и нам даже удалось побеседовать на серьезные темы, пофилософствовать под сенью древних колонн. Мой дядя недавно рассказал мне о Фидии и о метопах, так что я смог вставить пару

² Альдо Моро – председатель Совета министров Италии в 1960–1970-е гг., христианский демократ, популярный политик, был похищен и убит террористической группировкой «Красные бригады» в 1978 г.

слов и несколько впечатляющих замечаний о вздувшихся венах кентавра, размещенного в горельефе.

Вечером мы веселились: барабанили по столу, галдели допоздна, переходя из комнаты в комнату. Танцевали в трусах, ходили голышом по карнизам, косяки марихуаны горели, точно свечи в церкви.

Я брэнчал на гитаре из рук вон плохо – но в общем гуле этого не было слышно, фальшивящие голоса вливались в общий хор: «Инопланетянин, заberi меня, я хочу понять, где моя звезда... Инопланетянин, прилети за мной, я хочу начать сначала на планете другой!» Даже девчонки, которые уже с кем-то встречались, не отказывались переспать с одноклассником.

Но в компании парней было веселее. Мы рыгали, пукали и даже оторвали от стены полотенцесушитель. Не помню, чтобы я еще когда-нибудь так веселился. Под утро от смеха сводило челюсти. В юности можно было не спать всю ночь – и не устать. А потом быстро намазать волосы гелем, натянуть чужую футболку, темные очки – и бегом на улицу, в невиданную затопленную Грецию, под непрекращающийся поток дождя. Там я понял, что никакая погода не может испортить настроение, когда ты молод и счастлив. Набросить на плечи куртку, руки в карманы – и вперед. Семнадцати-, восемнадцатилетние сорванцы. Мы были непобедимы. И не потому, что мы такие уж сильные, – в Греции мы поняли, в чем наша сила. Мы не переставали удивляться себе. От грусти не осталось и следа, мы любовались красотой, видели ее повсюду. Эта неделя стала самой счастливой для всех.

В день перед отъездом показалось солнце. Облака рассеялись, порывы ветра утихли. Нагие, радостные, мы нырнули в холодное море. Кто-то даже не успел стянуть джинсы. На пляже было пусто. В отдалении виднелось какое-то деревянное строение. Небольшой ресторан, закрытый из-за отсутствия туристов. Голубые полинялые столики сгрудились в ожидании лета. На двери, на узкой цепочке, болталась табличка, покрытая ржавыми вмятинами: «Продается», а потом еще раз по-немецки: «Zu Verkaufen». Как видно, ее использовали в качестве мишени. Мы тоже устроили соревнования по метанию гальки, целя в жестяную табличку с греческими и немецкими буквами. Альдо передал Костантино косяк. Костантино не стал затягиваться, он складывал из камней какую-то фигуру.

Мы улеглись на песке, наши волосы пропитались солью, животы вздымались от глубокого дыхания. Свет вечера после дождя расплывался по пляжу оранжевой дымкой с синими прожилками. В этом свете Костантино казался бронзовой статуей.

– Я бы его купил.

Я промолчал. Я даже не понял, о чем он.

– Поселился бы прямо здесь.

– И что бы ты делал?

– Открыл бы ресторан. Кормил туристов, рыбачил, бездельничал. Такая забегаловка стоит сущие гроши, мы могли бы скинуться, отремонтировать тут все, нарезать помидоры и фету, украсить тарелки майораном... Мы с тобой и остальные, все, кто захотел бы остаться. Стали бы общиной. Меня тошнит от Рима. Наш дом похож на тюрьму, а еще больше на морг.

Он никогда не был так откровенен. Никогда я не видел, чтобы его глаза так блестели.

После завтрака он бродил с перепачканным вареньем лицом, размазав его, как крем для бритья, а Робертино жадно облизывался. «Лучше другое место оближи!» – кричал ему Костантино, и все бешено хохотали в ответ. На следующий день нам предстояло возвращаться домой. Всех охватила тоска, никто даже думать не хотел об отъезде, мы мечтали обратить время вспять. Мысль о том, что нам скоро придется сложить оружие, пугала, и мы продолжали лупить друг друга мокрыми полотенцами. В какой-то момент показалось, что мы проиграли. Порванные сумки, куча грязных вещей, заляпанные грязью светлые джинсы, вонючие крос-

совки. Мы жили впятером в одной комнате, в душ приходилось занимать очередь, все вокруг было залито водой. На Костантино был старый халат, в котором он ходил в бассейн. Теперь он едва прикрывал ягодицы, пояс был давно потерян. Помню ту комнату: столпотворение тел, следы мокрых ног, влажные головы на подушках, а из маленького магнитофона надрывается Иван Грациани: «Ты так глупа, глупее не бывает. Так хороша, что за тебя умру».

Мы с Костантино затагнули песню и принялись танцевать медляк. Мы кривлялись, изображали геев, передавали друг другу деревянную деталь карниза. Его голова покоилась на моем плече, он хохотал и похрюкивал сплюснутым рыбьим носом пловца. Мы упали на кровать и, продолжая смеяться, полезли друг на друга. Тут взял слово Франконе Бормия: «А слабо всем вместе подрочить? Давайте поспорим, кто попадет в лампу». Он схватил Костантино за полы розового, пропахшего хлоркой халата и дернул. Халат распахнулся. Я ни разу не видел его голым и успел разглядеть огромный пенис-палку. Все уже приготовились и, корчась от хохота, нацелились в потолок. «А у тебя кривой! А у тебя сосиска! Позовите-ка Робертино!» Безумный смех, бьющий фонтан непристойных ругательств. Костантино выбрался из кучи тел, прикрывая пах:

– Хватит уже, достали, катитесь из нашей комнаты, уроды!

Мы побежали на ужин, в последний раз отведать кислую мусаку, в последний раз изрыгнуть непристойные шутки. Тоска распахнулась в нас морем: уже завтра мы поплывем на корабле, нам предстоит свешиваться за перила и шумно блевать. Девчонки прикрыли колени, напялили свитеры, иных охватило раскаяние, другие уже успели влюбиться. Над нами витали запахи дома, возвращения, печальные мысли о будущем. Мы превратились в намокшие бенгальские огни, что плюются искрами, стоит лишь подпалить серу.

Всю ночь мы гуляли по городу, кое-кто даже умудрился потеряться. Учителя за несколько дней превратились в ветеранов войны, волосы преподавательницы греческого топорщились, точно перья грифа, впившегося когтями в череп. Потерянные товарищи вернулись, испуганные, подавленные.

Мы разошлись по своим комнатам, все молчали. Кто-то ходил прямо по разбросанной на полу одежде. Последним приколом стал выброшенный из окна фен. В дрожащем свете зари мы допили последнюю бутылку вина. Из соседней комнаты все еще доносились признаки жизни. Наверное, Вероника. Скоро она повзрослеет и устроится в спортивную газету, станет журналисткой из тех, что торчат у футбольного поля в стужу и зной с приколотым микрофоном. Непробиваемая девица.

Наконец все затихло, остался только гулкий шум моря. Казалось, что оно прямо здесь, в комнате. Свет погас, и только отблеск далекого маяка отражался в волнах. Костантино собрал вещи. Единственный из всех.

– Не спишь?

Он медленно перемещался по комнате, словно ревнивый муж, подкарауливающий любовника. Что-то упало, зазвонил будильник. Мы давились приглушенным смехом, никак не получалось его выключить. Наконец мы развалились на кровати и над нами нависли чужое горячее дыхание и беспокойные сны. Голые тела под простынями – снятые с креста мученики. Кто из нас справится с будущим, потянет взрослую жизнь?

Море билось в приоткрытое окно, вторя мотиву подошедшего к концу путешествия, настал тот миг, когда кажется, что каждая вещь, каждый камень прощается с тобой и больше никогда ничего не вернуть. Никогда больше мы не увидим этих застывших в скульптурных позах тел, никогда не почувствуем то, что чувствуем здесь и сейчас.

Под покровом темноты Костантино разговорился. Он нанизывал мысли, одну, другую, третью, и его голос, не слишком годный для шепота, гулко отдавался в комнате. Голый живот двигался в такт вырывавшимся изо рта словам. Он рассказал мне, что в детстве его отправляли

в христианский детский лагерь, где монахини частенько его поколачивали, а по дороге на море заставляли петь «Черное абиссинское личико». Можно было подумать, что он хочет поведать мне ту часть своей жизни, о существовании которой я не подозревал. А я боялся провалиться в сон, боялся упустить хоть слово. Но на самом деле заснуть я тоже не мог, скоро меня охватил страх, что я останусь один среди марева спящих тел. Так какое-то время мы пребывали меж бодрствованием и сном, и каждый боялся, что другой вот-вот заснет. Но чем дальше, чем становилось очевиднее, что мы просидим вот так до рассвета. Мы представляли, как отправимся на поезде сначала в Берлин, потом в Амстердам...

Когда мы наконец закрыли глаза, из окна повеяло предрассветным холодом.

По пути домой на корабле мы молча разбрелись. Я взял у Альдо магнитофон и слушал *Pink Floyd*, Костантино с девчонками рассматривал чьи-то фотографии, снятые на поляроид. С самого утра мы игнорировали друг друга: и в общей комнате, и потом, в хаосе чужих чемоданов. Кто знает, быть может, он поглядывал на меня, ждал, что я обернусь. Но я о нем и думать забыл. Какого хрена ему от меня надо?

На мосту кто-то горланил песни, меня попросили подыграть, но я покачал головой. Стадо быков, которых ведут на бойню, а они в последний раз обмахиваются хвостами, отгоняя назойливых мух, – вот кто мы. Вялые шутки продолжали срываться с губ, но это уже был не чифирь, так, настой ромашки. Подколы взлетали и падали, как подстреленные птицы. Темные очки, тошнота, волны – темные, раздувающиеся от ветра занавески, чувство беспомощной злости и неминуемой потери, от которого никуда не скрыться. При мысли о доме мне делалось страшно. Я ощутил вкус свободы и хотел бежать далеко-далеко, я стал мужчиной.

Вернувшись домой, я вывалил на пол содержимое сумки, домработница подхватила вещи и понесла к стиральной машине, а я рухнул на кровать. На следующий день я был в каком-то странном подвешенном состоянии – так канатоходец сосредоточен на точке, до которой нужно добраться во что бы то ни стало. Светящиеся осколки недели нашей славы складывались все в новые и новые картинки, как цветные стекляшки в трубке калейдоскопа. Мне не хватало друзей, общения, я изнывал от одиночества и тем не менее никому не звонил. Я просто свернулся в клубок и лежал, охваченный нестерпимой болью. Какой смысл вспоминать о рае, хватаясь за соломинку телефонного провода? С тех самых пор я стал бояться воспоминаний. Я постоянно бежал от них, старался ни к чему не привязываться, чтобы не оплакивать то, чего не вернешь. Ведь воспоминания о счастье причиняют слишком сильную боль.

Я смотрел в потолок, под которым прошло мое детство и отрочество, и во мне росло чувство собственного ничтожества и незащитности. Внутри все восставало против воспоминаний, но они обрушивались с новой силой. Я снова переживал наши совместные выходы, вновь ощущал гармонию, единение с остальными, вспоминал наши возбужденные тела. Я как будто сделал рывок, я стал другим. Казалось, жить прежней жизнью теперь невозможно.

В комнату зашла мама, она хотела пожелать мне доброй ночи, и впервые в жизни я не испытал ни малейшего облегчения от ее присутствия. Я ощутил вкус жизни, познал ее полноту, почувствовал, как она разливается по венам. Теперь у меня появилась точка отсчета, вершина треугольника, проект, и я был готов проститься с жизнью, лишь бы еще раз очутиться на такой высоте.

Той последней ночью случилось еще кое-что. Все уже давным-давно спали, а мы с Костантино балансировали на грани яви и сна. Из головы никак не шла недавняя сцена: парни скачут на кровати, гогочут, хватают его за полы халата. В этом смехе и гоготе слышался страх наступления завтра, желание растянуть сегодня как можно дольше, пока завтрашний день не заслонит его тени, пока вместе с солнцем не придет что-то новое. Все хотели украдкой проскользнуть в новый день, точно никакого вчера никогда и не было. Я прикрыл глаза и застыл в

заворе меж утренним светом и ночной темнотой. Безмолвный и безответный, я мешком повалился на кровать и полностью отрешился от окружающего. Костантино лежал рядом, его рука была совсем близко. Горячая и грубая рука простого человека. Близился рассвет. Наша последняя пиратская ночь подходила к концу.

Он положил руку на мой напряженный живот. Я почувствовал тяжесть, точно меня придавило плитой из мышц и крови. Еще недавно мы запойно шептались, но последние несколько минут стояла тишина. Я притворился, что уснул. Мой глубокий выдох послужил условным сигналом. Его рука скользнула вниз. Я почувствовал, какая она горячая. Она делала то, к чему я прибегал, когда не мог заснуть. Гладкая и смелая рука. Теперь это было совсем по-другому. Вот так же бережно и уверенно Костантино разворачивал шланг в нашем дворе. Я с трудом сдерживался, чтобы не выдать себя.

Я снова пережил то мгновение, когда коробка с мозаикой вылетела из окна, а он ее подобрал. Я вновь увидел древнего воина, у которого не было глаза. Недостояющий зрачок смотрел на меня откуда-то издалека. Я чувствовал, как он сдерживает дыхание. Он водил рукою не так быстро, как я, поэтому можно сказать, что я кое-чему научился. Мы словно обменялись телами. Казалось, он знал обо мне все. Я разрывался на части, застывал от ужаса и наслаждения. Сердце сжималось. Сквозь полуприкрытые глаза я видел его возбужденный член. Весь вечер я не мог забыть тот распахнувшийся халат. Я постоянно думал о нем.

Так мы и лежали в темноте – два павших на поле боя воина с воздетыми мечами, пронзенные врагами телá. Я с шумным выдохом откатился на свою сторону – так катится камень по склону горы. Когда рассвело, я посмотрел на его склоненную голову, на слипшиеся волосы. И подумал, что было бы неплохо жить вот так, с закрытыми глазами, притворяясь спящим, и чувствовать, как его рука двигается то вверх, то вниз.

Наутро я не удостоил его даже взглядом. Бросил ему шлепки, забытые под моей кроватью, надел солнечные очки и отвернулся. А когда наши глаза на мгновение встретились, его взгляд был покорным и робким, и я почувствовал отвращение. Такое лицо бывает у девушки, с которой ты переспал накануне. Ну подрочил, и что теперь? Ну подержался за член, и что? Многие парни хватают свои причиндалы на глазах у друзей, дрочат и щелкают это на большой измазанный поляроид.

В понедельник я не пошел в лицей. Но все равно встал в семь утра и подождал, пока Костантино не пройдет по двору. Он вышел вовремя, я увидел его с книжками под мышкой, со спортивной сумкой на плече. Он не оглянулся, сразу зашагал в сторону школы.

Меня раздражала его нарочитая вежливость; когда я проходил мимо, мне так и хотелось толкнуть его плечом или пнуть. Мы почти не разговаривали, а если я и произносил что-то, то всегда какую-нибудь гадость. Он чувствовал мою враждебность. Он сидел на своем обычном месте. Я видел все ту же спину, ту же белую полоску кожи ниже футболки, а он не шевелился – жук на ветке, да и только. Лишь изредка его шея слегка подрагивала, точно он хотел обернуться, но боялся встретиться со мной взглядом. Я воздвигал на своей парте стену из книг, только бы не видеть бритую козлиную макушку.

Он вырос среди святош, посещал воскресную школу, каждое воскресенье клал на язык благословенный хлебец, как и все семейство. Мне казалось, что он и сам покрывался какой-то священной пылью, что он так и светится любезностью, за которой прячется страх. У меня чесался язык – так мне хотелось растрезвонить на всю школу, что этот верзила, этот смиренный святоша, на самом деле – моральный урод, сраный педик, взлелеянный в церковной сени. Должно быть, это ханжи в черных юбках его и научили этому в своей ризнице. Я вырос в неверующей семье, мой дядя страстно ненавидел священников. Мы все были нормальные культурные люди. Почему же тогда я ничего не сделал, не оттолкнул его? В ушах звенела старая

неприязнь. Я ненавидел и презирал его, как это было всегда. Такие, как он, вечно путаются под ногами, словно мусор, гонимый ветром.

Перед школой его поджидала жирная девица с нечесаными волосами, в розовой футболке со стразами. Агрессивная штучка: сначала она толкнула его, потом выдернула изо рта окурков. Костантино засмеялся, но было видно, что она его раздражает. Однажды вечером я застал их в переходе у овощного рынка: они точно приклеились к грязной, испещренной объявлениями стене. Сначала я не понял, что это он. Парень припер девицу к стене, она закинула ноги ему на руки, он подмахивал снизу. Спаривающиеся шавки.

Я завел собаку. Не купил – подобрал на улице и притащил домой. Никто не осмелился возразить. У папы много лет назад был лабрадор, но, когда я родился, он был уже так стар, что едва шевелился. Я с детства мечтал о щенке, но теперь, когда смотрел на песью морду, особой радости не испытывал. Я упорно занимался собакой, тренировал ее. Однажды я вывел ее погулять вдоль реки, когда вдруг заметил Костантино, который шел мне навстречу. Он наклонился, приласкал собаку, а та принялась лизать его лицо и руки, словно тут же его полюбила. Завязался разговор. Он сказал, что обожает собак, что у его бабушки было семь гончих. Я подумал о том, что в деревнях принято держать собак в будках, чтобы они постоянно лаяли, представил себе этот нескончаемый собачий вой в утреннем тумане. И еще я подумал, что мы слишком разные, что пора бы ему оставить меня в покое. Мы стояли, прислонившись к невысокой стене. Он рассказал, что у него появилась девушка, что он стал мужчиной. Мы смотрели на грязные серые волны, под которыми покоились груды металлолома и грязи. Из черной воды торчала проржавевшая стиральная машина, ее сбросили туда перед Рождеством несколько лет назад, и теперь она глядела на нас единственным грязным глазом.

– Но теперь мы расстались.

– Почему?

– Она ведет себя как шлюха.

Я почувствовал, как у меня внутри что-то вспыхнуло, как тело обожгло с головы до ног, словно по венам пронеслась бурлящая лава. Я взволнованно и радостно посмотрел на него. Это гадкое пленительное слово привело меня в восторг. Мне захотелось, чтобы он рассказал подробнее, как все было. Я вновь почувствовал родство и близость с ним, вспомнил, что и ему известен наш секретный мужской код, что мы оба – те еще пошляки. Внутри у меня все смешалось, я радовался, ликовал и смотрел на него в каком-то сладостном бреде.

– Шлюха, говоришь?

– Еще какая!

Прошла зима, последняя школьная зима. Моя собака сбежала – домработница оставила дверь открытой. Я отчаянно искал ее повсюду несколько дней, но потом сдался. Я боялся, что она погибла. Я-то знал, что мальчишки из соседних дворов обожают мучить животных. Однажды я видел, как сын механика тащил завязанный пакет, наполненный водой, в котором отчаянно барахтался обреченный кот.

Мы бросали на дорогу пакеты с водой, забрасывали прохожих яйцами. В честь начала каникул ребята устроили вечеринку в гараже. Не знаю отчего, но мне было грустно. Теперь я осознавал, что я из тех, на кого не действуют законы физики, – такие люди легко парят в воздухе, игнорируя силу притяжения, ничто не в силах удержать их на земле. Они выдергивают шнур из розетки, и через секунду все кончено. Пока я стоял в метро и ждал поезда, я вдруг испугался, что брошусь под колеса, и отскочил от края платформы. Я чувствовал, что хожу по краю. Так ведет себя пес, сбитый с толку множеством запахов, когда уже не знает, где еще ему задрать лапу, только бы заглушить след чужого присутствия на своей территории. Я помылся, надел лучшее, что у меня было: красную футболку и выбеленную замшевую куртку.

Я так напился, что скоро уже чувствовал себя скользкой змеей. Полчаса я колбасился под рок, мне нравилось танцевать без пары, придумывать новые движения. Опыневший, оглохший, я устроил настоящий спектакль. На несколько секунд я выхватывал из толпы какую-нибудь девушку, кружил ее и тут же отпускал. Мне нравилось разыгрывать этот спектакль: я в главной роли – и я же зритель. Все остальные значили для меня не больше, чем отражение в зеркале.

Костантино в тот вечер выглядел стариком. На нем был блейзер в стиле Пеппино Ди Капри. Пару раз он промелькнул передо мной – потоптался с какой-то девушкой под скучный медляк. Хотя он едва шевелился, чувство ритма у него присутствовало: он медленно переносил вес с одной ноги на другую и двигал в такт ягодицами. Потом он курил, шутил с ребятами.

– Дашь закурить?

Я присел рядом и закурил. Я был весь потный, глаза остекленели, упился в стельку. Стараясь избавиться от ощущения, что челюсти свело, я то открывал, то закрывал рот.

Мимо прошла Дельфина. Она взъерошила мне волосы, обхватила мою голову и, притянув к себе, поцеловала:

– Эй, ты как?

– Кошмар.

Она уселась мне на колени, взяла мой стакан. Она мне даже нравилась. Отчаяние и добросердечие, которые читались на ее лице, задевали за живое. Я видел, как она танцует, как тянет вверх голые, точно зимние ветви, руки. Я погладил ее по плечу. Рука скользнула под бретельку лифчика, и вот уже я покрывал поцелуями белоснежную кожу с голубоватыми венками.

Костантино словно бы ничего не заметил. Погруженный в раздумья, он сидел, уставившись в стакан. Кто знает, быть может, он был уже при смерти, точно огромная рыба, выброшенная волнами на переполненный купальщиками пляж. Из тех, что сбились с пути, засмотревшись на морские анемоны, и подошли слишком близко к берегу, влекомые вспышками света, а когда захотели вернуться назад, было уже слишком поздно. Их поглотила тишина и темнота, а вокруг отдавалось лишь эхо далеких и незнакомых звуков.

У Костантино подрагивала нога, а он не обращал на это внимания. Она была совсем рядом с моей. Такое с ним часто случалось, даже на уроке, это пугало и раздражало.

Я резко отпустил бретельку, хоть и понимал, что сделаю девушке больно. Она дернулась, по коже пробежала дрожь. Ей нравилась эта игра, хождение по краю ласки и боли. Она открыла рот и нацелилась на мое ухо, но мне совсем не понравилась мысль, что меня собираются укусить за самое больное место. Я сжал ее узкую талию, провел пальцем по позвоночнику, откинул с плеча волосы, коснулся языком родинки на плече. Кто знает, что думали те, кто смотрел на нас в эти мгновения, – наверное, воображали, что между нами вспыхнет бурное чувство. Но в том-то и дело, что мне нравилось лишь возбуждать партнершу, зайти дальше я не был готов. Нога Костантино выбивала бешеный ритм, – казалось, он и его нога существуют совершенно отдельно друг от друга.

Я скинул Дельфину с коленей, хлопнул ее по заду, взял бокал, кинул ему: «Еще увидимся», встал и бросился в самую чашу тел.

Костантино смотрел на это сплетение тел и жестов так, будто бы он был бесконечно далек от того, что происходит вокруг. Ни дать ни взять рыба, которая видит перед собой ночной пляж и далекие огни и слишком поздно понимает, что моря больше нет, что слой воды под брюхом слишком тонок.

Я смотрел на его ногу, которая дергалась в ритме танца, выдавая его чувства, его детские страхи. Я протянул руку, положил ему на колено и с силой сжал:

– Прекрати!

Я сжимал пальцы все сильнее, чувствуя под ладонью его напряженные мышцы.

– Стоп, хватит!

Я ощутил, как его мышцы постепенно расслабились под моей рукой, точно круп прирученной лошади. Я провел рукой по его ноге, чуть касаясь пальцами. Вдохнул, как будто хотел что-то сказать, но забыл, что именно.

Мне хотелось крикнуть: «Да что там! Вот увидишь, все будет у нас хорошо. Мы станем мужчинами, мы будем уверенными и сильными, похожими на своих предков: я буду похож на отца, ты – на своих родных, и страдания больше не будет. Жизнь разведет нас, и, когда мы случайно встретимся, мы ударим друг друга по плечу, точно двоюродные братья, и спросим: «Ну как дела, дружище? Видишь, у меня все наладилось, я в порядке, я не покончил с собой».

Костантино положил свою руку на мою.

Мы немного посидели, глядя в никуда, – расплывчатый черно-белый снимок из давних времен. По телику показывали регби. Мы краем глаза следили за игрой. Все мое тело стало рукою.

Я отбросил волосы назад – этот жест всегда нравился девчонкам. Потом заправил прядку за ухо, зная, что через секунду она снова окажется на прежнем месте. Мы пристально всматривались в окружающий мир внимательными, глубоко посаженными глазами – глазами собаки.

– Бедняги, – сказал он.

– Кто?

– Все эти.

Он засмеялся и кивнул в сторону ребят. Потом погладил мою руку и сжал ее:

– Послушай, Гвидо...

Мое дурацкое имя, сорвавшееся с его губ, показалось мне звучным и красивым.

– Знаешь, ты мне нравишься...

Внутри у меня все горело, на меня накатило счастье. Но я молчал, выжидал, надеялся, что мысли немного прояснятся. Его рука вспотела, я это чувствовал. Он чего-то ждал, но я молчал. Он повернулся ко мне и посмотрел мне прямо в глаза, его лицо было слишком близко.

– Давай выйдем на минутку.

– И куда пойдем?

– Куда скажешь.

Я посмотрел на него. В его взгляде было что-то новое, глаза горели и словно молили о чем-то. Казалось, он сдался: обезоруженный, беззащитный, он стоял передо мной. Я испугался.

– Послушай, я не из таких, – сказал я.

Он улыбнулся, губы его увлажнились, глаза горели.

– Таких – каких?

Мимо нас прошел Робертино, я поймал на себе его двусмысленный взгляд. Я кивнул в сторону худой, подергивающейся под музыку задницы. Он был такой отвратительный, мерзкий.

– Таких, как этот.

А что еще мне было делать? После той ночи я ни о чем другом и думать не мог. Постоянно представлял себе навалившихся друг на друга парней. И вспоминал того голого мужика на пляже, который манил меня к себе.

Я резко отодвинулся и обхватил руками колени. Я слышал, как Костантино пытается сдержать икоту. Я обвился плющом вокруг собственного тела, переплетя пальцы, точно не знал, что делать с руками.

Год назад он мне подрочил, и я тогда кончил, а он проявил такую прыть, точно был заправской шлюхой. И я позволил ему это сделать. Я лежал с закрытыми глазами и позволял руке, которой он сотни раз заботливо поправлял на моих глазах черную велосипедную цепь, хозяйничать в моих штанах. Я не мог об этом не думать. Каждый раз, когда я трогал свой член, каждый раз, хотя я изо всех сил старался остановить это воспоминание... оно возвращалось снова и снова. За этот год я действительно его возненавидел, и моя ненависть обрела четкие

формы. Порой случается, что слова, которые мы прокручиваем в голове, вырываются наружу и принимают ясные очертания.

– Слушай, я не гей, – произнес я.

Наконец-то я сказал это слово. Глаза Костантино ничего не выражали, но затем на дне зрачков мелькнула вспышка, отголосок какого-то безумия. Я почувствовал, как во мне разливается волна жестокой радости. Я ждал этого взгляда. Я и представить себе не мог, насколько мы с ним похожи; этот взгляд объединил нас. Не я ли все эти месяцы боялся сойти с ума? Костантино смотрел на меня так же, как на парня в бассейне, которого он боднул головой в живот и скинул в воду. Его раздуло от бешенства и злости. Я приготовился к удару. Весь год я мечтал с ним подраться.

Он быстро поднял кулак и по очереди потер глаза, пытаясь остановить набежавшие слезы. Я увидел лицо самоубийцы, своего двойника. Я уловил на его лице отпечаток смерти.

Однажды мы видели, как из реки выловили мертвеца. Мы долго стояли на берегу, вокруг толпился народ, останавливались машины, люди выходили поглазеть, вокруг надувных лодок речной полиции образовалась толпа. Полицейские поднимали труп из реки так, словно поймали огромную рыбу. Мы могли разглядеть голые ноги, голубовато-мраморный живот, обремененное рыбами лицо.

Возможно, глядя на меня, Костантино вспомнил о том мертвеце.

– Мне нравятся девушки, – сказал я.

Мог ли я тогда представить, сколько всего таилось во мне...

– Знаю.

Да что он мог обо мне знать, когда я сам о себе ничего не знал! Ничегошеньки! Он был бесконечно далек от меня, в его лице сквозило одиночество: печальный, выловленный из реки труп. Он безмолвно плыл по течению. Я тронул его за плечо. Он не пошевелился. Он был уничтожен, подавлен. Жаль, что нельзя повернуть время вспять, что нельзя снова почувствовать его горячую руку в моей. Почему я не пошел с ним, как он просил? Что бы такого случилось? Неужели было бы хуже, чем теперь? Я глубоко вздохнул и ощутил каждую частичку своего тела. Я почувствовал, как от меня оторвалось нечто важное, без чего невозможно жить дальше. Костантино закурил и улыбнулся:

– Мне тоже нравятся девушки, коли так.

На уроках он вел себя как прежде: отстраненно, вежливо; если у нас и возникал какой разговор, то только по пустякам. У него на губе выскочил герпес – огромный страшный цветок. Он заклеивал его пластырем. Должно быть, ему было больно – иногда я видел, как его рот словно перекашивало от крика. Он с трудом его сдерживал. Еще у него появилась новая манера вздыхать, от которой он не избавился до конца жизни: казалось, что у него медленно сводит челюсти и ему тяжело дышать. Мне хотелось извиниться, но он словно и думать забыл о том разговоре. Он больше не оборачивался, не смотрел на меня. Когда меня вызывали к доске, он даже не поднимал головы и продолжал что-то корябать в своем дневнике.

Учеба подходила к концу: пронеслись пять прокуренных, заезженных лет. На улице стояла жуткая жара, все ходили в майках, футболках.

Теперь все говорили только об экзаменах, о том, что предстояло сдавать. Ребята писали дипломы и сбивались в стайки, чтобы вместе готовиться. Некоторые вели себя так, словно уже поступили в университет. Одним словом, мы были готовы расстаться. Кончилось время битых стекол, пророщенных во влажной марле семян, прошли времена, когда мы пели на мессах и бегали до бассейна под проливным дождем, прятали руку, запущенную в штаны, под партой, потели в спортивной форме. Когда-нибудь мы скажем: «О молодость, молодость, чудесное было время!» Через месяц каждый из нас пойдет своей дорогой.

Дядя пытался настроить меня на будущую профессию: «Если кто-то осмелится притачить мне подделку, клянусь, что этой самой картиной я проломлю ему голову! А если подделка окажется хороша и я не смогу ее опознать... Тогда не важно! Тогда плевать, что это подделка! Тогда я готов подтвердить, что это истинный Вермеер!»

Я сидел на террасе неподалеку от дяди и смотрел на летнее розовеющее вечернее небо, в котором носились безумные птицы. Он что, намекает, что мне стоит заняться подделкой живописи?

– В нашем мире нет ничего настоящего, Гвидо. Ничего нового не придумаешь. Бери от чужой жизни лучшее и воплощай в своей.

– И ты распишешься, что это оригинал?

– Само собой. Но моя подпись окажется подделкой.

– И никаких угрызений совести?

– Разумеется, нет.

Он рассмеялся резким, циничным смехом – его ум был таким же, как смех: острым и циничным. Казалось, смех дяди Дзено раздавался из пустого колодца.

– Видишь вон тех птиц? Они тоже не настоящие. Вокруг нас – сплошной обман.

У Костантино появилась постоянная девушка. Некая Розанна. Она возникла точно из ниоткуда. Они познакомились, пока мы готовились к экзаменам, она была из другого района. Не уродка, но и не красавица. И уж точно не похожа на парня: пышные формы, томный взгляд – когда такая девушка идет по улице, она ступает медленно, точно ее придавливает к земле какая-то невидимая загадочная ноша. Костантино поджидал ее у подъезда, нажимал кнопку автоматического освещения, и они вместе спускались в его каморку. Туда, откуда доносились звуки телевизора и воркование голубей, устраивавшихся на ночь за оконной решеткой.

Она сразу стала своей в семье консьержей. Здоровалась с матерью Костантино, пробовала ужин, шутила с сестрой, целовала в щеку будущего свекра, и все это с таким видом, как будто свадьба – дело решенное. Жеманничала и крутила молодыми пышными бедрами. Она любила провоцировать – молодым женщинам всегда нравится кокетничать с пожилым свекром, которому они рано или поздно начнут колоть лекарства. Настанет день, когда Розанна все возьмет в свои руки. Эта семья станет без нее невыносима, они не смогут обходиться без ее навязчивой заботы. Так будет, хотя она едва переступила порог их дома. Ей нравилась мысль, что старики должны уступать место молодым, что мир остается прежним и старые простыни, покрытые потом умирающих стариков, можно отстирать, чтобы они еще послужили молодым любовникам. Так было всегда, и эта девушка спокойно принимала жизнь такой, какая она есть. Когда в выходные они с Костантино гуляли в центре, Розанна пользовалась любыми предложениями, чтобы помедлить у витрин мебельных магазинов. Костантино ждал и тоже невольно смотрел на витрину. Ей было не важно, что, едва их чувства окрепнут, она заполнит чужой дом ненужным хламом и вскоре ее собственная жизнь окажется такой же ненужной, как и все остальное. Они с Костантино вместе всего несколько дней, но семья уже ее полюбила. Розанна жила в пригороде, неподалеку от Тусколаны, ее мать работала медсестрой в больнице Святого Духа. Она курила и при этом умудрялась одновременно жевать жвачку. Они познакомились в больничном дворе, когда Костантино навещал отца (тому сделали небольшую операцию на почках), а Розанна пила кофе из пластикового стаканчика, поджидая, когда у матери закончится смена. Теперь она у него как дома. Все сидят за столом и едят, на старой выцветшей скатерти расставлены тарелки. Вместе. Потом садятся перед телевизором и смотрят сериалы. Отец выкуривает последнюю сигарету, сестра переодевается в пижаму и бродит по дому в тапочках с кошачьими мордами. Розанна кладет голову на плечо своему парню и поглядывает на него оценивающим взглядом: тело, джинсы, руки, волосы, темнеющие в вырезе футболки. Она им гордится.

Однажды вечером я увидел, как они целовались. Она придерживала руками его голову, и в этом было что-то требовательное, насильственное. Она точно впивалась в его рот. Я почувствовал отвращение. Мне показалось, что они специально меня поджидали.

Костантино заметил меня и представил нас. Она слабо сжала мою руку – так смотрит ягненок, замысливший слопать волка. Точнее, он его уже слопал, и теперь волчья туша переваривается в желудке под белой пушистой шерсткой.

– А, так ты и есть знаменитый Гвидо!

Костантино улыбнулся, он снова стал прежним: кротким и безмятежным, как будто между нами никогда ничего не было. Просто подурачились, потусовались, а теперь, когда у него появилась женщина, он распрощался со всеми мужскими радостями, остепенился. Розанна обняла его за талию, а он посмотрел на нее довольным и в то же время небрежным взглядом. Так, словно хотел убежать. Он похорошел: плечи расправились, обозначилась талия. Я в шутку ударил его в плечо:

– Что ты там наговорил обо мне?

Я еще раз толкнул его, и мы оба согнулись от взрыва беззаботного смеха. Розанна тоже засмеялась, откинула волосы. Я посмотрел на нее, отпустил несколько комплиментов и одарил ее самой привлекательной из своих улыбок. Мне хотелось произвести впечатление. Казалось, дело выгорело. Я должен был показать ей, кто здесь главный. Ведь мы – старые друзья, а она – конфетный фантик, который сегодня есть, а завтра нет, так что пусть знает свое место.

Розанна показалась мне порядочной стервой. Она стояла совсем рядом, но смотрела на меня точно издалека, оценивала. Я откинул за ухо свой фирменный завиток.

– Ты ухо проколол?

Костантино протянул было руку к моему уху, но потом опустил ее, а я утвердительно кивнул.

– Круто.

Розанна презрительно фыркнула:

– А мне не нравится, когда парень прокалывает уши.

С тех самых пор между нами возникло взаимное недоверие, которое со временем только усиливалось. Теперь она не стеснялась нести при мне всякую чушь, откидывать волосы, звенеть браслетами и вертеть своей грузной задницей.

– Ты ее трахашь?

Я спросил это ни с того ни с сего. Мы спускались по лестнице, я приобнял его за плечо. Он улыбнулся и покачал головой:

– Ладно, кончай это.

– Что, не дает пока? – Я похлопал его по бритой козлиной макушке. – Так чем вы там занимаетесь? Сосет у тебя, что ли? Или зажимает между сиськами?

– Заткнись!

Он разозлился.

– Да ладно, я пошутил.

Но потом я еще раз заговорил об этом при всех, когда мы торчали у каменной ограды:

– Внимание, парни, слушай сюда!

Посыпались сочувственные похлопывания по плечу, пошлые шутки, в честь влюбленного Костантино хор голосов затянул песню Ивана Грациани: «Ты такая шлюха – хуже не бывает. При виде тебя дружка раздувает...»

За экзамены я получил низший проходной бал: шестьдесят из ста. Слава богу, отделался. Я решил ничего не устраивать. Мне просто хотелось сидеть в одиночестве на террасе, пить пиво, курить и смотреть на грязные звезды. Девушки ко мне так и липли, я подвозил на скутере то одну, то другую. Теперь я знал, что нужно делать, чтобы девушка потеряла голову.

Они разбивались об меня, как мотыльки о стекло автомобиля, пилились, как сторож маяка на темные воды. Принюхивались к моим рукам. Должно быть, от меня исходил запах их счастья. Иногда я и сам воображал, что влюбился. Но я понимал, что я не такой, как все, – слишком уж холоден, слишком задумчив. Я смотрел на то, что делаю, словно через толстое стекло. И видел, что могу пройти по подвешенному над бездной канату, так что ни одна нормальная женщина не последует за мной.

И зачем только я связался с Элеонорой? Я и думать о ней не думал, для меня она была призраком из подвала, и только. Мне было неприятно от мысли, что у Костантино есть сестра, что, когда на улице льет дождь, они сидят в будке консержа и режутся в карты.

За последние годы она похорошела, вытянулась: узкая талия, пышная грудь. Я заметил ее у барной стойки неподалеку от дома: она сидела в вонючей забегаловке, куда я изредка заскакивал купить молока. Она вела себя раскованно, точно была там частой гостьей, потягивала кофе и курила, взгромоздившись на металлический стул. Перед ней лежала книга в синей обложке. Я остановился, чтобы прочесть название.

– Знаешь его?

Выпендрейница. Сидит в сраной забегаловке, куда и солнце-то не заглядывает, ноги в тонких колготках покрылись мурашками, а строит из себя юную интеллектуалку в кофейне на Монмартре! Тут, где по тротуарам летает мусор и на стене надпись: «Здесь мы теряем время».

– Кофе будешь?

Почему бы и нет? К черту потерянное время. Я ставлю на столик пакет молока и заказываю сок. Она говорит, что ей нравится глава, когда Сиддхартха возвращается к старому паромщику и становится его учеником. Это предлог, чтобы поговорить о себе. Она совсем не похожа на брата, лицом скорее напоминает отца: плоский нос, впрочем довольно милый. Я думаю о Говинде, лучшем друге Сиддхартхи, который все бросил и последовал за ним, потому что любил его больше собственной жизни. Скромный и преданный, он готов был всю жизнь провести среди лесов, нищенствовать, питаться червями. Это из-за него я сижу теперь с Элеонорой, до которой мне и дела-то нет.

Я расплачиваюсь, беру свой пакет:

– Пока, увидимся.

Раньше мы почти никогда не встречались, а теперь я вижу ее каждый день. Совершенно ясно, что она поджидает меня специально, знает, когда я выхожу и когда возвращаюсь домой. Наконец я все-таки сдаюсь. Она ждет меня у лифта, на ней курточка из кождама, лицо испуганное, волосы влажные, помертвелые. Сидит на ступеньке и курит.

– Привет.

– Ты меня напугал.

– С чего бы?

Элеонора бросает на меня умоляющий взгляд. Я выпускаю из рук шлем, делаю вид, что он упал случайно, и не успеваю нагнуться, как она уже повисает на мне. У нее бешеное сердце и странный характер. На мое лицо обрушивается град колючих поцелуев. От Элеоноры пахнет подмокшей мукой и чем-то возбуждающим. Она хватается за волосы, притягивает к пышной груди. Мне уже давно нравятся плоскогрудые девчонки. Я быстро выбиваюсь из сил. Ослабь она хватку, я бы выскользнул у нее из рук, словно мокрая рыба, но мы зажаты в темном углу, где кончается мраморная лестница. Ее разгоряченное тело кажется мне слишком крупным, она наваливается на меня: шумное дыхание, липкая кожа. И это его сестра. Мне до нее нет ни малейшего дела – пусть берет что хочет и оставит меня в покое. Я вспоминаю, что, когда мы были маленькими, ее часто оставляли во дворе с соседской малышкой. Она строила карапузов в шеренгу и изображала из себя училку.

Я дернул ее за волосы, просунул язык меж приоткрытых губ, обнажил пышную грудь, погладил холодный живот. Почувствовав нежную кожу, я с трудом сообразил, что на ней чулки с подвязками. Девчонки в лицее такие не носили, и я впервые столкнулся с подвязками, впервые прикоснулся к оголенным бедрам. Элеонора была всего на три года старше меня, но я всегда видел в ней женщину. Я запутался в подвязках, они смущали меня, и за этим смущением скрывалась печаль и какая-то тайна. Мне стало грустно. Элеонора тяжело дышала, запрокинув голову:

– Иди ко мне, иди сюда!

Должно быть, Элеонора любила смотреть эротику, – без сомнения, она пыталась изобразить сцену из пошлого фильма. Я тоже любил кино, правда немного другое. Но я все же старался не ударить в грязь лицом, бросаясь в пламя ее жадных поцелуев. Мне хотелось закричать, рассмеяться, позвать кого-нибудь, чтобы можно было заценить со стороны всю нелепость этой сцены. Я был точно дырявый шланг в опытных женских руках. Мне казалось, что вот-вот придет Костантино, я представлял себе, как он возникнет из темноты, и эта мысль огорчала меня точно так же, как и чулки с подвязками. Скоро я думал уже только о нем: мысль струилась по телу, точно горячая лава, пока я пытался стянуть с Элеоноры трусики. Вдруг она неожиданно вскрикнула:

– Хватит, перестань!

Ее ноги напряглись, точно у эпилептика, но мне уже хотелось ее по-настоящему трахнуть. Ей удалось выскользнуть из-под меня. Извиваясь, как угорь, она вырвалась, прикрывая руками грудь:

– Ты что, сдурел совсем?

Элеонора креветкой попятилась назад, к выходу. Откашлявшись, она поправила волосы и бросила в мою сторону добродетельный дружеский взгляд. В ней не осталось ничего от похотливой сучки, какой она была всего несколько секунд назад, и уж точно не было ничего общего с девушкой, философствующей за барной стойкой. Так, должно быть, выглядит порноактриса сразу после съемок, когда приходит время привести себя в порядок. Элеонора зажгла сигарету. Вот теперь-то она стала настоящей апулийской девушкой, за плечами которой тысячелетия зажигательной тарантеллы.

«Ненавижу женщин, ненавижу притворство, – подумал я. – Если я когда-нибудь полюблю, надеюсь, моя женщина будет другой. У нее не будет ничего общего с такими девицами. Это будет инопланетная девушка с мальчишеской фигурой, прибывшая на Землю только для того, чтобы меня спасти».

– Ты знаешь, у меня еще не было секса, – сказала Элеонора.

Я иду навстречу своей судьбе. Сколько таких шагов еще впереди?

Каждый раз при мысли о пережитой в подъезде сцене я чувствовал отвращение и страх, вспоминал выражение наивного девичьего лица, нелепую фигуру, которой Элеонора пыталась соблазнить меня, потопив в море ужасных плотских помыслов. Да что мне до твоей девственности? Какое мне дело до этой страшной хлюпающей дыры, когда вся моя жизнь – сплошная пустыня, потрескавшаяся, выжженная глина вместо плодородной земли? Ничто так не пугает меня, как мысль о чьей-то девственности. Я вдруг совершенно четко это понял. При одной только мысли о том, что нужно пробиться сквозь эту отвратительную плеву, я становился импотентом. Я вспоминал Вольтера, думал о Кандиде: о его бессмысленных, осторожных рассуждениях. Думал о целомудренной хитрой девице, представлял, как по ее лицу текут слезы и капли дождя. Сцена из плохого романа.

В субботу мы вместе отправились в центр – гулять. Он с Розанной, я с Элеонорой. Нелепая четверка, смешнее не придумаешь. Мы пошли на площадь Навона, где стоял гам, где было полно пьяных туристов, уличных художников и игроков в карты. Быстро стемнело, девчонки

нелепо шутили. В какой-то момент мне показалось, что все обойдется, – не так уж плохо, когда позади идут две девицы, готовые отдать за тебя жизнь.

Элеонора забрасывала меня записками, подстерегала повсюду. Она хотела подарить мне себя, старалась остаться со мной наедине. Я мог бы извлечь из этого определенную выгоду. Наглая, пропахшая бедностью, источавшая сексуальную агрессию – такие всегда нравились парням в кашемировых свитерах. Она позвонила в нашу дверь, потому что знала, что дома никого нет.

– Как у вас хорошо, я никогда сюда не заходила.

«Врет и не краснеет», – подумал я.

Она выглянула из окна и посмотрела вниз, в сторону своего подвала. Потом повалилась ко мне на кровать:

– Иди сюда.

Ее волосы рассыпались по моей подушке огромным черным веером. Хороша, что тут скажешь. И готова отдаться, но только вот я для этого не гожусь. Для меня это все равно что смерть. Я попытался увести разговор в сторону:

– Я столько раз хотел покончить с собой!

– Да ладно! – не поверила она.

Я перечислил все виды и способы самоубийства, о которых думал долгие годы. Потом предложил выпить колы. Элеонора разглядывала нашу квартиру, увешанную картинами и хранившую следы когда-то весьма обеспеченной жизни, и не знала, верить мне или нет, смеяться или плакать. Я закинул ноги на стол и рыгнул.

– Рано или поздно я все-таки это сделаю! – гордо заявил я.

Я схватил кухонные ножницы и воткнул их в стол, прямо между пальцами. Обычный спектакль, но я всегда умел произвести впечатление. Я включился в игру и уже чувствовал себя актером, разыгрывающим гениальную сцену самоубийства, таким Гарольдом из фильма «Гарольд и Мод».

– Ты это нарочно? – Элеонора безнадежно озиралась по сторонам. – Как жаль...

Она говорила вполне искренне – ей было жаль, что в такой большой и светлой квартире живет такой идиот, как я. Она взяла с полки одну из книг отца, пролистала несколько страниц, посмотрела на страшные фотографии кожных болезней. Издатели на них не поскупились. На огромном развороте красовался розовый грибок эритемы.

– О боже, какая гадость!

– Это книга отца.

– Понятно.

– Ты что, правда девственница?

Она посмотрела на меня жалобным взглядом коровы, которую тащат на бойню.

Врунья. Надо было завалить ее и всадить хорошенько. Но она только отсосала у меня и ушла.

Не знаю, что там она сказала брату, только вечером он ждал меня у подъезда, усевшись на багажнике припаркованного автомобиля. По его лицу катились капли пота, тело под майкой тоже взмокло. Он схватил меня за руку:

– Что у тебя с моей сестрой?

– Тебе лучше знать.

– Ты что себе позволяешь?

– Ничего!

Мы повздорили, принялись оскорблять друг друга, но я чувствовал его неуверенность. Мне показалось, что он злится понарошку, не всерьез. На самом деле ему хотелось что-то доказать, с кем-то схватиться, продемонстрировать своей никчемной семье, подглядывающей

за нами из-за прикрытых занавесок за грязной решеткой, что он чего-то стоит. Само собой, дело тут было не в чести. Просто ему нравилось изображать из себя мужественного защитника.

– Ладно, проехали.

Нас связывала своя история. И к чести она не имела ни малейшего отношения. Она переродилась в некое чувство, которое испытывали мы оба: странное притяжение, которое только отталкивало нас друг от друга.

– Мне нет никакого дела до твоей сестры.

Его суровый вид вызывал во мне нежность, и одновременно я с трудом сдерживал смех, представляя, до чего же мы нелепо выглядим. Я вдруг ощутил, что возбуждаюсь. В глубине души я был рад этому недоразумению, этому неожиданному позору. Я развел руками. Я чувствовал себя виноватым за то, что единственный раз позволил у себя отсосать.

– Ну ладно, прости.

Я улыбнулся, но Костантино всерьез завелся:

– Ты кем себя возомнил? Кем возомнил?

Теперь он выглядел увереннее, в глазах загорелась ненависть, жестокость. Казалось, что вдруг овладевшие им мысли, гнев, злоба распирают его изнутри. Он принялся орать на меня. Тогда и я стал серьезным:

– Какого черта тебе от меня надо?

Он схватил меня за футболку так, что ткань затрещала, потом рванул на себя. Он хлюпал носом, кричал, брызгая мне в лицо слюной и потом:

– Ты воспользовался, воспользовался нами! Что за дерьмовая семья!

– При чем тут моя семья, придурок?

– Что вы о себе возомнили? У нас тоже есть свое достоинство, у нас есть достоинство!

– Да кто претендует на ваше достоинство?

Он толкнул меня так, что я отлетел к стене.

– Эй, не распускай руки, руки не распускай.

Я чувствовал, что он давно хотел ударить меня, во мне поднималась волна ненависти, я осмелел:

– Ну приложил ее немного, и что с того?

– Я тебя прикончу!

Я давно мечтал с ним подраться.

– Она сама трахнуться хотела.

Я оказался проворней его. Все было прямо как тогда, в бассейне, только теперь я оказался в роли Костантино. Я пригнулся и впервые в жизни боднул головой что есть силы, попав прямо в лицо противнику. Резкая боль отозвалась во всем теле, а из носа у Костантино хлынула кровь. Его удар не заставил себя ждать – тут же я почувствовал, что мой рот наполнился кровью.

– В вашей семье все любят трахаться, – сказал я.

Он схватил меня за горло и повалил на землю. Я видел, что он не осознает, что делает, что ему ничего не стоит меня задушить. Но я был этому только рад, по мне разливалось счастье – абсолютное, совершенное и абсурдное. Я видел, как он бесится от злобы, как у него идет кровь. Наши запахи перемешались, стали одним целым: ароматом, который рождается из самых недр существа, точно вода из скалы. Он плюнул мне в лицо, и я приоткрыл глаза. Я надеялся, что он меня убьет. Мне не хотелось думать о будущем.

Следующий год был полон неожиданностей. Мама перестала спать по ночам. Она вставала и бродила по дому, точно запертый в клетке зверь. Я шел за ней, брал ее за руку, но она ничего не чувствовала, словно рука, которую я держал в своей, ей не принадлежала. Днем она в изнеможении падала в кресло и засыпала.

В детстве я все время страдал от одиночества. Рано утром мама всегда была уже одета и идеально накрашена, она отдавала последние указания прислуге и выбегала из дому с такой скоростью, точно спасалась от пожара. А для меня часы тянулись бесконечно. Я представлял себе, чем она занимается, когда уходит из дома. Когда я выползал из своего укрытия, мир казался мне каким-то болотом, я жил лишь надеждой снова ее увидеть. Когда я гулял в парке, когда залезал в деревянный домик, когда вылезал из него, я постоянно думал о ней. Я думал о ней как об особенной матери, не похожей на серую безликую массу других матерей. Она казалась мне возвышенной и прекрасной, самой лучшей на свете, ее красота была для меня сродни красоте дикой природы.

Ни за что на свете я не променял бы Джорджетту на одну из этих раскрасневшихся, сердитых или ласковых матерей. И хотя я был несчастным ребенком, я знал, что мне повезло больше остальных. Я никогда не осуждал ее. Для меня она была богиней, а богини не опускаются на колени, чтобы подтереть нос собственным детям. То, что она не хочет тратить свое драгоценное время на скучные повседневные дела, было для меня совершенно естественным. Я не сомневался в том, что она летает слишком высоко, и меня, как и отца, переполняло чувство преданности и благоговения. Я жил у подножия алтаря, у священного жертвенника, на котором горело пламя обещаний. Я озарялся радостью при мысли, что могу отразить хоть луч ее сияния. И когда теперь я думаю о том, как странно я себя вел в те годы, я понимаю, что так я пытался найти дорогу к ней, пробудить интерес к себе.

Единственное, о чем я мечтал, – это походить на нее. Когда я немного подрос, я научился ее провоцировать, и, если я видел, что она злится и одновременно с тем раздосадована, узнавая во мне свои недостатки, я ликовал. Я знал, что ее сердце нужно завоевать, что она ничего не спускает. Я снова и снова разглядывал ее выпуклый и гладкий живот и такой же лоб на единственной фотографии, где она снялась беременной. Мне было нужно удостовериться, что эта женщина действительно меня родила. Часто меня посещали сомнения, что я действительно ее сын, что меня не купили в каком-нибудь магазине ненужных детей. Я никогда не ждал от нее сочувствия, даже в самые трудные моменты жизни. Она была полна сострадания и часто помогала нуждающимся, но я-то понимал, как трепещет ее сердце, как восстает ее ум против этих ограниченных, ничего собой не представляющих людей, которые изо всех сил стараются вызвать к себе жалость и завидуют чужому благополучию. Она не верила в Бога, не переносила запаха беженцев, не терпела трусости. Она была чиста и одинока, и другие матери ее ненавидели, на дух не выносили. Холодная звезда в раскаленном небе.

И вот вдруг она все чаще стала появляться дома, стала такой хрупкой и даже беспомощной. Сначала я не обратил на это внимания: я был слишком занят своими делами. Придя домой, я заставал ее там: босые ноги, расплывшийся макияж. Ее прекрасная фигура казалась слегка помятой. Она болтала ногой, закинув ее на подлокотник кресла, на груди – раскрытая книга, взгляд устремлен куда-то в бесконечную даль. Я привык любить ее издали, и сейчас ее присутствие казалось мне таким важным и в то же время таким ничтожным. Она перестала быть богиней и стала человеком, а потому мне трудно было поверить, что это все та же Джорджетта.

Она все чаще и чаще сидела дома, пока я наконец не привык к тому, что, вернувшись, найду ее спящей на диване в гостиной. Поначалу я думал, что она просто устала, что это возраст берет свое, что ей нужно передохнуть, поднабраться энергии, а потом она снова бросится

миру навстречу. Не знаю точно, что именно я думал. Я растерялся. Иногда она шла за мной, стучалась в дверь моей комнаты и какое-то время стояла, прислонившись к стене, заложив руки за спину, мрачно глядя прямо перед собой набухшими покрасневшими глазами. Усталый, рассеянный взгляд.

Казалось, она погружена в какие-то мысли, которые тянут ее за собой, точно колеса по пыльной дороге. Она была со мной, но в то же время где-то далеко-далеко. Ее присутствие было странным, иногда даже пугающим. Она силилась улыбнуться, но я чувствовал, что она пытается справиться с собой, что долгое дневное сидение в кресле оставляет в ее душе отпечаток каких-то теней, борьба с которыми заранее обречена.

– Можно мне посидеть на твоей кровати, Гвидо?

От такой несправедливости хотелось кричать.

Она подгибала ноги, ее легкое тело ложилось в мою кровать: притягательная, сексуальная женщина. Она лежала на той самой кровати, где я так часто думал о ней. Лежала с сомкнутыми глазами, ее приоткрытые губы слегка подрагивали. Но я держался. Я сидел у ног моей спящей красавицы. Ей было жарко, она покрывалась испариной. Где найти веер? Я обмахивал ее своей тетрадью.

Она всегда была очень худенькой, почти бестелесной. Когда-то через донорскую кровь ей передалась скрытая форма гепатита. И вдруг через столько лет печень перестала справляться, перестала очищать кровь. Ей назначили безбелковую диету и посоветовали постоянно держать кишечник пустым. Потом ей прокололи курс интерферона – препарата, который куда более подходит для кобылы, чем для хрупкой женщины.

Ее дневная летаргия под вечер переходила в странную активность. Отец варил по ночам кофе, а она выливали все в раковину и кричала, что хочет побыть одна, что ему завтра идти на работу. Я слышал, как она устраивает кавардак в своей комнате, стучит дверцами шкафов, вываливает вещи. А потом она хлопала дверью и быстро бежала по двору, спотыкаясь на высоких каблуках. Никто не знал, куда она шла и как проводила время. Может быть, она отправлялась гулять вокруг своих любимых зданий, барочных церквей с огромными решетчатыми двориками, бродила в пустынном, светящемся в темноте городе.

Однажды ночью я выскочил из дому вслед за ней. Я видел, как она вошла в бар, как вышла из него, как шла вдоль стены до следующего бара и как наконец вскочила в ночной автобус. Дверцы закрылись, прищемив подол ее пальто. Я немного пробежал за автобусом и заметил, что ее лицо исказилось злобой, когда она попыталась высвободить зажатый краешек. Не знаю, можно ли было назвать это гримасой безумия, но тогда я понял, что она изменилась, и эта перемена произошла мгновенно – так налетевший град разбивает стекло теплицы, крушит горшки, срывает листья.

Наверное, моя мать всегда пила. Когда я подрос и начал злоупотреблять алкоголем, мне кое-что вспомнилось. Когда я был пьян, я чувствовал, как во мне просыпается та же самая боль. Я вспомнил запах дыхания, когда она возвращалась домой и подходила к моей кровати, чтобы поцеловать на ночь, наклонялась и шептала какие-то нежные слова, как всякая мать.

Дефицит оксида азота отравлял ее организм и уносил сознание. Однажды ее нашли на улице – она потерялась. Она сидела неподалеку от дома, но ключей у нее не было. В одной футболке, без колгот, голые ноги в каких-то пятнах и синяках. Не знаю, где и сколько она бродила. Ее нашел Джино, она у него стриглась. Он возвращался с овощного рынка и вдруг увидел маму у гаража. Он узнал в ней синьору, которой недавно делал прическу, взял под руку и отвел домой.

Я как раз возвращался из университета. Записался на факультет политологии. Это был случайный выбор, сделанный, чтобы от меня отстали на ближайшие четыре года. Мне хотелось закутаться в плаценту. Мать сидела в будке консьержа, завернутая в одеяло. В руке у нее был

апельсин. Я часто вспоминал ее с апельсином в руке. Ей дал его парикмахер – нелепый жест из тех, что делают, когда больше ничего не приходит в голову. Чтобы вернуться к реальности.

Мать Костантино приходила к нам делать матери уколы. Она быстрым шагом поднималась по лестнице, от нее по-прежнему пахло хлоркой. «Добрый день, синьора, как себя чувствуете?»

Моя мать встречала ее стоя. Она облакачивалась на книжную полку, приспускала колготки, на ее лице не было никакого выражения. Потом консьержка поднималась в квартиру к дяде. Теперь она сама носила ему еду: Костантино призвали в армию. Он побрился, сел на поезд и отбыл с рюкзаком за плечами. Мог бы и подождать. Ведь он записался в сельскохозяйственный институт и уже сдал экзамены за первый семестр. Но он сбежал. Я до сих пор не сдал ни одного экзамена, но меня освободили от армии. У меня обнаружили патологию яичек, тестикулярный перекрут.

В тот день я решил поговорить с отцом. Мне крайне редко приходилось бывать у него в клинике, я заходил туда всего пару раз, сам не знаю, как я там оказался. Я спрыгнул с мотоцикла и вошел в новомодную цементную коробку с затемненными стеклами – дом, где находилась приемная отца. Дверь была не заперта, пациенты только что разошлись. Я направился прямо к его кабинету.

Все случилось буквально за пару секунд. Ровно столько мне потребовалось, чтобы все осознать. Так перемещаются солнечные системы: секунда – и вот уже позади миллионы километров. Ты несешься в вихре раскаленных звезд и не веришь, что действительно это видел. Но твое тело говорит, что именно так все и было. Мальчишка идет по коридору в кабинет отца, чтобы спросить совета. День как день, ничего особенного.

За эти годы я ни разу не приходил к нему, и вот теперь придется сесть по другую сторону стола, словно я один из пациентов. Я хочу увидеть его в халате, я знаю, что в своих кругах он чего-то стоит. С ним считаются коллеги. Но не ты. Ты с ним никогда не считался. Пришла пора попробовать. Для начала можно попросить, чтобы он посмотрел родинку под мышкой, которая не дает тебе покоя. Отец возьмет лупу, подойдет поближе – безобидное темное пятнышко увеличится в несколько раз.

Он скажет: «Все в порядке, Гвидо».

Ты поправишь футболку, вы посмотрите друг другу в глаза. Ты просто хочешь поговорить с ним о матери. Вы никогда о ней не говорили. Обычно отцу приходится говорить об альбумине или билирубине, о циррозе, об энцефалопатии. Подходящие слова у него всегда найдутся. Вот только у тебя нет ни одного. Тебе хочется плакать. Ты представляешь, как отец стоит у окна со сцепленными за спиной руками, левая лежит на правой, на его худом теле длинный халат. Он смотрит на тебя покрасневшими глазами.

Но на деле все выходит совсем не так. Он не стоит, а сидит.

Мгновение, и твое тело – пещера, в которую залетает ледяной ветер. Сам не зная почему, ты вспоминаешь летний кинотеатр под открытым небом. Ты чувствуешь резкую горячую боль в паху. Никто тебя и пальцем не тронул. Но ты ощущаешь, что над тобой надругались, ты смотришь со стороны, как над тобой вершится насилие, вся жизнь проходит перед тобой, точно на огромном экране. Ты видишь себя ребенком, этот ребенок неуверенно делает первые шаги. Молодая прекрасная Джорджетта смеется и помогает тебе помахать папе ручкой, а папа снимает вас на камеру.

Когда женщина оборачивается, ты ее узнаешь. Ты видишь контур ее профиля, тебе достаточно полувзгляда. Но она не обращается в пепел, а вспыхивает огнем. Должно быть, она всего лишь наклонилась, чтобы что-то поднять и положить на стол. Отец держал ее за талию с таким же выражением лица, с каким отдавал команды старому лабрадору Викки. На старой пленке

запечатлены кадры из прошлой жизни: отец отдает команду, и собака несет ему теннисный мячик.

Но теперь я точно сам снимал все на пленку, я смотрел на эту сцену глазами Джорджетты, и то, что я видел, обращало все пережитое в прах.

Должно быть, они были несчастливы вместе. Моя мать любила большие, пульсирующие жизнью города. Она была прекрасна, а Альберто нельзя было назвать привлекательным мужчиной. Но он был хорош в постели и держал себя в форме, летом лазил по горам. Он был из тех, кто, прежде чем старость окончательно вступит в свои права, непременно захочет прыгнуть с парашютом. Но хотя прошло столько лет и я вспоминаю об этом скромном застенчивом человеке много хорошего, я все же не могу понять: почему нельзя было просто немного подождать? Как ему было не стыдно? И почему сама жизнь сделала меня свидетелем этого позорного скандала, которого так легко было избежать? Всего через два месяца он стал бы вдовцом, и тогда мне не в чем было бы его обвинить. Я сам бы попросил его не запирайтесь в четырех стенах, начать новую жизнь. Ему было пятьдесят три. Но все случилось так, как случилось, и я его возненавидел. Вся жизнь нашей семьи предстала для меня сплошной обжигающей ложью.

Элеонора обернулась и пошла мне навстречу с тем самым выражением лица, к которому я с детства привык, – так смотрит летящая птица, которая хочет передохнуть в каком-нибудь уютном местечке на земле.

– Привет!

Под расстегнутым халатом виднелось короткое платье.

Я даже забыл, что она работает у отца. На этом настояла моя мать после того, как секретарша отца уволилась. Так, значит, дочь консьержа. Она выросла на глазах у моей матери. Джорджетта всегда делала ей подарки на день рождения и на Новый год, ей хотелось дать девочке шанс. И вот девочка его получила.

Отец резко вскочил, нелепо взмахнув руками, точно карабинер на дороге. Но Элеонора казалась совершенно спокойной. Она прошла мимо меня так, словно ничего не произошло. Старательная девочка, она уже давно все знала, давно ждала подходящего момента. Давным-давно засела в засаде.

Домой я вернулся, точно истекающий кровью загнанный зверь, который вот-вот рухнет на землю. Я пронесся мимо будки консьержа, еле дыша от злости. За окошком мелькнули красноватые болезненные глаза матери Элеоноры, отвратительные заношенные брюки ее отца. Его лицо, покрытое псориазными бляшками, его красный нос, его беловатый лоб... дурные жадные люди. Они травили мышей и чистили уборные. Они использовали мою семью, пренебрегли добротой моей матери, сыграли на моей подростковой неопытности, сделали из моего отца троянского коня, в котором пряталась эта подлая девица в чулках с подвязками, девица в пушистых наушниках, которая когда-то так вызывающе и угрюмо на меня пялилась. Эти двое, брат и сестра, хотели выкарабкаться из своего убогого подвала по трупам моих родителей. Только боль могла хоть как-то приглушить мою ненависть.

Настало лето. Я возвращался домой после игры в теннис. Джорджетта заперла дверь изнутри и оставила ключ в замке. Я попробовал открыть, долго звонил в звонок. Потом я стоял и ждал, когда рабочий вскрыет дверь. Запах его пота наводил на меня ужас не меньше, чем звук работающего перфоратора. Он долго возился, но я не сдвинулся с места. Впервые в жизни я мечтал о том, чтобы звук никогда не смолкал, чтобы он стал единственным на земле. Может быть, у нее очередной срыв. Я тешил себя надеждой. В последнее время я стал ее тюремщиком и вел себя отвратительно. Я был не в состоянии видеть ее такой, смотреть в затуманенные глаза. Принять ее в таком состоянии означало разрушить прежний идеальный образ. Ей велели

следить за тем, чтобы кишечник был пустым, и она безумно боялась этих белесых болезненных испражнений. Ее живот и ноги отекали, за растянутой, как резина, кожей скрывалось с детства знакомое выражение ее лица. А за дверью на меня набрасывалась темнота. В этом бесконечном коридоре, словно в тюрьме, слышалось лишь беспокойное дыхание заключенных, которые прятались за закрытыми дверями. То был мой собственный разум, который искал, куда бы укрыться.

Шум утих, мы вошли в квартиру. Я погрузился в пустоту. Звук, беспокоивший меня все эти годы, утих в ту самую минуту, когда выпал дверной замок и гул перфоратора затих. Теперь мне казалось, что я понимал, что это был за звук. Я предчувствовал его задолго до этого дня. То был звук призывающей меня боли.

Я подошел к стиральной машинке и увидел мамины ноги. Я сел в коридоре перед дверью в ванную, где лежало ее тело, не выпуская из рук ракетку. Я смотрел на эту картину сквозь натянутые струны ракетки.

В тот день мусорщики устроили забастовку – в летнем воздухе витал отвратительный запах гниющих нечистот. Контейнеры переполнились, вокруг валялись мусорные мешки, разорванные бездомными кошками. Я все был готов отдать, лишь бы снова стало чисто, лишь бы проехали поливалки и вымыли улицы. Я думал о содержимом мешков: сгнившие виноградины, яичная скорлупа, разваренные макароны, помятая бумага, срезанный с мяса жир, остатки прогорклого масла.

Матери я ничего не сказал. Я думал, что впереди у нас еще много времени.

Я поднялся в квартиру дяди. Мы с ним давно не говорили. Мне было нелегко переваживать его язвительные уроки жизни, я устал от интеллектуальных ловушек, которые он расставлял на каждом шагу. Его клейкая паутина обматывала меня с головы до ног, и я не мог пошевелиться. Он сидел на террасе в веревочном кресле и тоже смотрел на кучи мусора.

– Джорджетта мертва. Моя мать умерла.

Он бессильно уронил руки, раскрыл рот и сидел так какое-то время, позабыв о том, что нужно дышать. Он не двигался, только его холодный взгляд блуждал по сторонам. Наконец его глаза остановились где-то наверху, на мгновение в них промелькнули тени бегущих по небу облаков.

Я позвонил тете Эуджении, она вызвала такси, и вот уже высокие и потрепанные жизнью супруги предстали передо мною, точно могильщики. Впервые в жизни я восхитился родственниками отца, которые так тихо и спокойно справились со всеми формальностями. Никакого шума, два-три необходимых звонка, и только-то. Они старались не оставлять меня одного. Тетя сама решила одеть Джорджетту, ей не хотелось, чтобы это делали посторонние. Так я впервые увидел нижнее белье матери. А еще я увидел, как окоченело ее тело. Его было тяжело передвигать, вдеть руки в рукава оказалось нелегкой задачей. Участие в этом процессе многому меня научило, я понял, что такое смерть. Мы потеряли счет времени, взмокли, но продолжали бороться с этим упрямым, восставшим против нас телом. Мы трясли его, тянули в разные стороны, и все же пуговицы на спине не удалось до конца застегнуть, а колготки были натянуты кое-как. Из ее рта показалась белая отравленная слюна. Я увидел, как постепенно ее тело обращается в мрамор, опухоль спадает, словно ее засосало куда-то внутрь. Я был рядом с мамой до последней минуты, лежал на подушке и смотрел на ее лицо, на скулы, обтянутые холодной кожей, точно облегаящей ткань. Гроб пронесли по двору.

На гражданской панихиде в душевной комнате собралось совсем немного людей. Середина августа, это понятно. Священника не пригласили. Те, что пришли, сидели с красным лицом и обмахивались распечатанной фотографией Джорджетты, которую им вручали при входе, – это была идея отца.

После коротких аплодисментов я повернулся и пошел за гробом. Мы вышли из темной комнаты в свет двора, и, когда я переступил порог, мне показалось, что я ослеп. В просвете двери я увидел силуэт, словно вырезанный лучами солнца. Это был Костантино. Он стоял, наклонив голову и широко расставив ноги.

Когда я подошел, он заплакал. Я не плакал. На мне были черные очки, какие носят актеры. Мы обнялись. Гроб отправился в крематорий, а мы остались стоять там, где стояли.

Мы шли по улице, нещадно палило солнце. Я никогда не видел Костантино в форме. В ней он казался выше, грудь расправилась. Ему дали увольнительную на день, и он взял билет на ночной поезд. Его шея вспотела. Мы сели на бортик фонтана, воды в нем не было. Вокруг статуи тянулись предупредительные ленты. Я рассказал, как все произошло. «На вид ты спокоен», – заметил он. Так оно и было. Я озирался по сторонам сквозь темные стекла и ничего не видел. Мне было плевать, что происходит вокруг. «Как сам?» – спросил я. Он признался, что сначала пришлось нелегко, дедовщину еще никто не отменял, а в армии полно фанатиков.

– Эти уроды отняли у тебя год жизни.

– Все равно я доволен, что пошел.

– Ты изменился.

Он улыбнулся:

– А тебя отмазали.

Я рассказал ему про тестикулярный перекрут, про то, что одно яичко иногда выходит из мошонки.

– Вечно к тебе цепляется всякая дрянь.

– Зато в ушах больше не звенит.

Потом заговорил про рабочего с перфоратором, рассказал про то, как он вскрыл дверь, как я нашел тело. И про то, что сразу вслед за этим на меня обрушилась тишина. Я все еще не выплакал свое горе и понял, что дрожу. Так мы и сидели у фонтана, ничего не делая. Я был босиком, он – в солдатских ботинках. Костантино обливался потом, но и не думал расстегнуть хоть одну пуговицу. Мы перешли площадь, купили холодного пива и вернулись к фонтану. Я сказал, что потерял интерес к жизни и готов стать хоть бродягой, скитаться по миру босиком, как тот немецкий парень у замка Святого Ангела. Он тоже сказал, что не хочет возвращаться домой. Там, где он служил, росли яблоневые сады и повсюду витал запах яблок. Его так и подмывало присоединиться к тем, кто их собирал, уснуть в шалаше с другими парнями, жить одним днем. Я вернулся в бар, купил бутылку виски. Солнце вовсю палило, и бритая голова Костантино блестела, пот тек и тек по вискам. Я приложился к бутылке, намереваясь напиться в память о матери. Костантино пытался меня образумить. Я развалился на земле и изображал, что плыву.

– Пойдем на море.

У него еще было несколько часов. Мы взгромоздились на скутер, притормозили у подъезда. Он забежал домой и вернулся через несколько минут в синей футболке и с большим рюкзаком за спиной.

Я потерял ботинки, рубашка была обвязана вокруг талии, на голой груди развевался галстук. Из-за жары улица казалась голой пустыней, в которой не было ни души: параллельная реальность, да и только. Цикады гудели, точно самолеты, идущие на посадку. Я ехал куда глаза глядят, точно бедуин в пустыне, вел как попало, несясь, не чувствуя ног, касаясь голыми ступнями раскаленного асфальта. Мы несколько раз чуть не упали. Костантино закричал: «Какого черта ты творишь!» – а потом рассмеялся, и мы снова мчались вперед, как две цикады, а мотор пел свою песню под нашими задницами.

Мы выехали на пляж там, где кончались сосны, и сразу же полезли в море. Я качался на волнах вверх-вниз, точно подстреленный. Костантино плавал гораздо лучше меня. Он сразу заплыл далеко, его руки, которыми он зачерпывал в гребке воду, виднелись где-то у горизонта.

Потом мы встретились на пляже и снова прыгнули в воду. Плавок у нас не было, трусы срывало волнами.

- До сколько ты можешь остаться?
- До шести утра.
- Поедем обратно?
- Пожалуй.
- Хотя бы душ примешь.

Но меня уже развезло, и я заснул, лежа на животе, уткнувшись носом в песок. Когда я проснулся, Костантино уже поставил палатку. Я пошел в сторону призрака прошлого.

- Помнишь ее? – спросил он.

На секунду мне стало так грустно, точно я увидел покойника. Я помнил многое и в то же время как будто ничего. В этой палатке я мечтал о том, чему не суждено было сбыться.

- Я еще ни разу ею не пользовался.
- Ни разу?
- Честное слово.

Было все еще жарко, но уже не так, как днем. Солнце откатилось к горизонту – устало за долгий день. Вдалеке показалось несколько птиц. Они держали курс к устью реки, голодными черными гроздьями падали вниз и врезались во вздымающиеся гребешки волн. Таким мне запомнился этот день за миг до того, что случилось потом: голодные птицы на фоне заката. Я наклонился, чтобы залезть в палатку. Все это уже с нами было, это случилось давным-давно. Так что поздно храбриться.

Я разлегся внутри и вдыхал запах затхлой ткани, которую не разворачивали вот уже десять лет, рассматривал молнии, складки на стенках. Канадская кемпинговая палатка снаружи была синей, изнутри – оранжевой. Огненный купол нависал надо мною огромным небосводом. Я чувствовал себя младенцем: в парусиновом животе было хорошо и спокойно. Я вытянул руки и коснулся стенок, теперь я был гораздо больше, чем в детстве.

Ахеец стоял неподалеку, точно облепленная песком статуя, безволосая голова – шлем, детское выражение лица. Он стоял снаружи, не решаясь войти. Я сам позвал его:

- Залезай.
- Можно?

Он наклонился и проскользнул внутрь, ко мне. Мы немного полежали рядом. Я поднялся и закрыл дверь на молнию, потом снова лег. Я крепко держал его за потную от жары руку. Он сам собрал палатку, значит понимал, что делает.

Повисла гнетущая тишина, и в голове у меня было пусто, теперь мне все было по плечу.

Я чуть повернул голову, и мы посмотрели друг на друга другими глазами: чистыми, совершенными. Потом я протянул руку и погладил его по лицу, мы поцеловались. Наша слюна смешалась, мы ощутили теплоту наших ртов, свежесть зубов, я чувствовал, как движется его язык. Он был спокойнее меня, и я тоже замедлился. Все было именно так, как и должно быть. Я почувствовал себя в безопасности: точно длинный тоннель протянулся прямо к центру моего «я» и увлек за собой все тело. Он поглотил окружающий мир и меня самого, и все встало на свои места. Не знаю, как мы осмелились зайти дальше, но оказалось, что это несложно. Его шея, точно крепкая шея лошади, свободной от наездника и сбруи, напряглась, как согнутый хлыст, словно его самого ударили хлыстом. Он раскрыл рот. Мне никогда не приходилось видеть такого большого рта, из него вырвался безмолвный неудержимый крик. Он придерживал мою голову рукой, его лоб ударялся о мой лоб, он смеялся и плакал, звал меня по имени и повторял «любимый, любимый». И я понял, что этого уже не изменить, что ничто на свете не сравнится с этим мгновением. Я и представить себе не мог, что он такой нежный и такой страстный.

И мы дошли до конца. Пошли против природы. Хотелось бы мне знать, что такое эта природа, эти звезды, эти деревья, шепот земли, прозрачные воды... Природа – это дух, который живет в тебе и делает так, что ты по собственной воле перешагиваешь через себя и через все границы, какие только есть в этом мире.

Можно сказать, что это и было природой, нашей природой, которая прорвалась сквозь преграды и нашла самое прекрасное и безопасное выражение. Мы обрели самих себя и друг друга. Как будто бы ветер сотворил новый мир, пригнул его к земле и постепенно подарил ему новые формы. Костантино не хотел, чтобы так вышло, да и я не хотел. По крайней мере, так я считал. Но что я мог знать? И жизнь, и его желания оказались слишком противоречивы. Мягко были отброшены его одежды, разбитые рыцарские доспехи. Простые, дешевые мальчишковые вещи. Он был крупным, я – худеньким. Он – из бедной семьи, я же сын обеспеченных и в то же время жалких людей. Он посмотрел на меня, и, глядя в его глаза, я ощутил, что он падает в пропасть, как будто в его взгляде соединились тысячи жизней: жизни погибших солдат, монахов, убийц, святых отшельников. Все они смотрели на меня его глазами.

– Я люблю тебя, – прошептал я.

– Я тоже тебя люблю и всегда любил.

Не веря самим себе, мы приподнялись под нашим оранжевым небом и, как крестьяне на нивах, склонились и собрали манну в ослепительных лучах.

Когда мы вылезли из палатки, пляж показался нам незнакомой планетой. Я почувствовал, что наконец стал собой, точно меня собрали из кусочков в единое целое. Мы искупались в море. Смеркалось. Наши ноги – тонкие и нежные, едва родившиеся на свет зверьки. Вода баюкала нас, наши тела доверились волнам, море стало нашей вселенной.

Потом мы молча застыли у берега в пене прибоя, погрузив руки в мерно набегающие и откатывающиеся назад волны. Эти минуты, казалось, протянутся вечно, потому что все исчезало, чтобы снова вернуться на круги своя. Волны обмывали, очищали наши зарытые в песок руки. Песок был жизнью, что впервые показалась из воды и выбралась на берег: она протекала у нас сквозь пальцы.

– Теперь мы стали собой.

– Да, мы – это мы.

Потом мы молчали, смотрели друг на друга и улыбались. Если ты занимался любовью, то не влюбиться уже невозможно, ведь тело – это берег души. Под нашими плечами был девственный песок, и мы перешагнули его невинность. Мы смотрели на следы наших ног, на отпечатки ладоней и пальцев на песочных дюнах. Они казались нам лунными кратерами.

Мы не строили никаких планов, но пора было торопиться: Костантино мог опоздать на поезд, что грозило бы ему взысканием, его могли лишить увольнительных. Он надел форму прямо на пляже, споткнувшись, зачерпнул ботинком песок. Мы сложили палатку и засунули ее в рюкзак. Потом помчались назад. В глаза летела мошара и бил свет фонарей, мы неслись по трамвайным рельсам, скутер резко кренился. Бензина почти не осталось, а все заправки были закрыты. Скутер пыхтел и кряхтел, мы еле-еле добрались до того места, куда упиралась улица Национале, Костантино прыгнул с сиденья и помчался в сторону вокзала. Он быстро пропал из виду. Я вернулся домой босиком, толкая скутер. Кровать в комнате матери все еще была застлана смятым пледом, на котором лежало ее тело перед тем, как его унесли. Я лег на это место, стараясь уместиться четко в контуры ее тела, схватил подушку, зажал ее между ног и заснул на боку блаженным сном.

Когда я приехал, меня переполняли надежды. Путь оказался долгим, но вокруг была красота. В поезде я читал. Иногда, отрываясь от книги, я поглядывал в окно на сменявшие одна другую картины: сначала свет, потом туман над долинами. Старые поселки, переезды, мосты – все они казались волшебным подводным миром. «Хорошее всегда ясно и определено, дурное всегда размыто и бесформенно», – повторял я про себя только что прочтенную фразу. Она выплыла из книги, отделившись от страницы, словно ключ, оторвавшийся от общей связки, и мне казалось, что это говорится о нас, о нем, о чем-то бесконечном и близком, о том, что пора открыть дверь в неизведанное. Это Костантино придал мне форму, сделал меня лучше, человечнее. Он подарил мне надежду.

Не об этом ли мы мечтали? Убежать от повседневности, смыть с себя грязь сомнений, зажечь новой жизнью далеко-далеко. И я верил, что эта поездка – первый шаг, первый глоток будущего, которое нас ожидает. Запах поезда, новые люди заходят на разных станциях... Особенно много их было на последних остановках, уже после Местре. Это второстепенная дорога, рельсы бегут вдоль полей, заросших высокой травой, в вагоне сидят укутанные в платки женщины, измазанные чернилами студенты, работники железной дороги, направляющиеся на другие станции, к другим поездам. Они выходят на маленьких станциях, которые вдруг возникают посреди пустых полей, закрывают за собой двери, пинают железный зад паровоза. Несколько раз я поднимался с места, чтобы помочь то девушке, то старику: закидывал их сумки на багажную полку над головой других пассажиров. Старый поезд, обшарпанные станции вдоль путей – все это словно бы хранило отпечаток другого, отжившего мира.

Недалеко от меня примостилась женщина, у нее в сумке сидела живая курица. Курица не шевелилась, свесив красный гребешок, – просто копия своей хозяйки. Все это напомнило мне картины фламандских мастеров. Постепенно я отвлекся. Я смотрел по сторонам, и внезапно мне почудилось, что это я в каком-то порыве схватился за краски и, как заправский художник, безрезультатно ищу жизненной правды. Это я косым штрихом намечаю подводный пейзаж, на фоне которого выделяются резкие контуры – фигуры моих попутчиков. Они казались мне неслучайными, их словно нарочно подобрал для полотна какой-нибудь знаменитый художник, Брейгель или кто-то похожий. Я вдыхал запах краски, я видел прилипшую к их башмакам грязь, чувствовал влагу стихии, бушевавшей за окном. Там мелкие капли дождя боролись с порывами ветра. Я с волнением осознавал, что я – самый ничтожный из всех. Я впервые чувствовал столь глубокую, столь явственную гармонию с окружающим миром.

Поезд шел по старым тонким, как ленточки, рельсам. Он вгрызался в горы, петлял меж нескончаемых нависших скал. Вдалеке виднелись малюсенькие горные деревушки, дома напоминали отколовшиеся от горы и скатившиеся вниз камни. И все это принадлежало мне. Все это пело в моем сердце, свободно билось в моей груди. Меня охватила счастливая дрожь – дрожь новорожденного, зашедшегося в первом смехе, когда каждая клеточка тела ликует от нового ощущения. Поезд то останавливался, то трогался снова. Я развернул бумагу, съел бутерброд. Я до сих пор помню его вкус: помню тот пропитавшийся маслом хлеб, помню, как откусывал огромными кусками, потому что успел проголодаться. Поезд шел высоко в горах, а я находился на пике собственной жизни: молодость и высота вскружили мне голову. Казалось, я обезумел от радости, кровь наполнилась кислородом, в голове отдавался стук сердца. Я пошел в уборную и принялся мастурбировать, глядя широко раскрытыми глазами в сторону гор, туда, на светящуюся вершину, окутанную тишиной. Вдалеке до сих пор можно было различить траншеи времен Первой мировой.

Я вышел на станции. Вокруг меня, точно гипсовые, вздымались горы. Я направился в сторону большого и мрачного здания казармы, которое заметил с первого взгляда. Потоптался в холодном, словно морозильная камера, зале. В будке тихонько переговаривались и подшучивали друг над другом двое дежурных. Они были настроены дружелюбно, но я посмотрел на них новым, застенчивым и робким взглядом. Мне еще не приходилось вот так смотреть на парней.

В последнем письме я признался ему во всем.

Я знаю, что в мире двух одинаковых людей не бывает, а это значит, что мы с тобой ни на кого не похожи. Теперь ты далеко, что за несправедливость! С кем мне поговорить? За дверью я слышу шаги отца. Недавно он заглянул ко мне в комнату, но я послал его подальше. Ночью мне одиноко, без тебя этот город омертвел, время тянется, бесполезное, бесконечное, и я не надеюсь, что мне полегчает. Вчера ночью какие-то парни подожгли мусорный бак. Впервые я наблюдал такое бешенство, такую силу: они пинали его что было мочи, пытались опрокинуть! Их свирепая злоба явилась для меня настоящим чудом. Мне так хотелось, чтобы ее огонь поглотил все вокруг! Мне казалось, что бензин повсюду, даже в реке, и я мечтал, чтобы она вспыхнула. А потом хлынул ливень. Река разлилась, вода под мостами вышла из берегов, увлекая за собой баржи и причалы. Перевернутые лодки неслись в сторону моря, посреди неудержимых, точно подводные ключи, потоков воды. А теперь все покрыто слоем грязи, город выглядит младенцем в серовой плаценте. И мне страшно. Не знаю, хватит ли у меня сил тебя дождаться. Наша палатка пропала. Когда-то мы хотели совершить кругосветное путешествие, ты помнишь? Г.

Я подписывался первой буквой имени, старался избегать мужского рода. Боялся, что письмо могут прочесть. Хоть казарма и не тюрьма, но суть одна и та же – наводящее ужас здание, обнесенное колючей проволокой.

Я с трепетом ждал его писем. Они хоть как-то скрашивали мысль о разделяющих нас километрах. Марка с почтовым штемпелем и помятый почтальоном конверт были мне дороже всего на свете. Казалось, я живу в прошлом тысячелетии, когда на свете еще существовали герои, когда каждая весточка была пропитана кровью. Я внюхивался в тонкие конверты. В этих длинных письмах он писал мне о полных мелочей, ничем не примечательных буднях. «Паек так себе, но есть можно. Теперь я умею ползать по-пластунски. Я научился стрелять». Он и вправду казался туповатым солдатом, у которого была далекая благая цель, не имевшая ни малейшего отношения к его собственной жизни. Его пугала моя настойчивость. Но чего ему было бояться? Того, что я пришлю ему фотографию своего возбужденного члена с припиской «С любовью, Гвидо»? Когда он звонил из одной и той же телефонной кабины, я слышал, как гулко и слишком уж быстро проваливаются в автомат жетоны. Я укорял его за холодные письма, на что он мрачно отвечал, что не умеет писать так же цветисто, как я. Я представлял себе, как он стирает белье, как сидит на раскладушке и ест печенье, как ему на брюки сыплются крошки, думал о его бритой макушке. Я брал тонкие страницы и смотрел на них против света, и тогда они начинали светиться, а слова смешивались. Оставалась лишь тонкая вязь синих узоров, искусное кружево его почерка. Я старался разглядеть за этим узором другое письмо, более нежное, более страстное, написанное невидимыми чернилами. Я искал очертания букв, которых не разобрал бы никто, кроме меня. Я старался прочесть то, другое письмо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.